



ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Библиотека

Журнала

Пограничник



**Библиотечка
журнала „Пограничник“
№ 2(14), 1968 год**



ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Рассказы

МОСКВА

Хронологические рамки этого сборника — от победного окончания войны до наших дней. Таким образом, читатели встретятся с послевоенным поколением часовых границы, узнают об их бдительности, доблести, стойкости, товарищеской спайке. Часть рассказов повествует о дружбе, взаимной помощи пограничников и населения приграничной полосы. Часть — о том, как полученная на заставах и кораблях закалка помогает бывшим воинам в трудовой жизни.

*В книгу «После войны» включены рассказы известных писателей Александра Авдеенко, Бориса Зубавина, Олега Смирнова, чье творчество тесно связано с темой границы. Среди авторов — и бывшие пограничники, ныне профессиональные литераторы Лев Линьков, Михаил Абрамов, Константин Кислов, **Сергей Мартьянов**, Лукьян Горлецкий и офицеры-пограничники Анатолий Марченко и Александр Сердюк. Представлен и совсем молодой прозаик, лишь недавно уволившийся в запас, — старшина Анатолий Проскуров.*

Сборник «После войны» посвящается 50-летию советских пограничных войск.



Борис ЗУБАВИН

Женщина жнет траву

1

Старшего лейтенанта Прохорова перевели из стрелковой части, расквартированной за рубежом, в пограничные войска. В этих войсках он никогда не служил.

Застава, порученная Прохорову, по численности уступала той роте, которой он командовал к концу войны. Люди выглядели утомленными.

В первую очередь он захотел изменить режим службы, чтобы дать людям побольше отдыха. Он решил, что заведенные до него порядки только усложняют и путают жизнь на заставе. А Прохорову все здесь было просто, обыденно и даже, пожалуй, немного скучно.

Помощник его, лейтенант Крымов, большеголовый, почтительный, уже в годах человек, временно

командовавший заставой, показался службистом. Прохоров не любил таких людей. Однако он скоро убедился, что порядки на заставе изменить очень трудно, даже невозможно. Люди привыкли жить в постоянной настороженности. Самым незначительным событиям они придавали огромное значение: надломленная кем-то ветка в лесу или едва уловимый свист на сопредельной стороне — все здесь имело таинственный смысл. Люди сутками могли сидеть около надломленной ветки, часами наблюдать за тем местом, откуда был услышан свист... Впрочем, задумываясь над этим и считая все совершенно неправильным, Прохоров все же не знал, да и не трудился узнать, в чем должна заключаться правильная охрана границы. Он просто сделал вывод, что здесь продолжают жить по тяжелым и до смешного ненужным теперь правилам войны.

Он любил погордиться своим военным опытом перед пограничниками, которые не были на войне. Лейтенанту Крымову он иногда снисходительным тоном рассказывал боевые истории, действительно пережитые им или только где-то слышанные. Делал он это не потому, что у него было мало своих интересных историй или любил похвастать чужим, а потому, что своего и чужого у него было так много и все это, смешавшись, лежало так одинаково ярко в памяти, что он уже не разбирался, где свое, а где чужое.

Большое, в веснушках, доброе лицо Крымова очень забавляло его. Оно было всегда, по мнению Прохорова, озабочено пустяками.

«О чем он все время беспокоится?» — думал Прохоров.

Дежурный по заставе разбудил ночью солдат Попова и Силантьева, которые должны были идти в наряд. Силантьев стал сейчас же одеваться, тяжело сопя спросонья, а Попов, оторвав от подушки измятое во сне и точно отсыревшее лицо и взглянув на темное окно одним глазом, ворчливо сказал:

— Рановато еще. Не светает, — и опять упал тяжелой головой на подушку.

— Покуда оденетесь да покурите — в самый раз будет, — сказал дежурный.

Попов помолчал, потом вдруг вскочил, озорно поглядывая светлыми веселыми глазами, точно он и не спал.

Солдаты умылись во дворе холодной водой, поливая друг другу в темноте из ведра, и Силантьев наплескал Попову на сапоги.

— Ослеп, что ли? — сердито прошептал Попов.

Они плескались и разговаривали тихо, будто боясь нарушить предутренний, безветренный покой, плотно окружавший их. Потом они вернулись в казарму и, прицепив к поясным ремням подсумки с патронами, взяв в руки винтовки, вышли опять на улицу, сели на бревно около забора, в углу двора, и, свернув по папироске, молча закурили. К тому времени начало светать, и темнота выделила из себя неясные, мягкие, расплющенные, без углов силуэты казармы, деревьев. На крыльце показался дежурный.

— Докуривайте живей, — негромко, как бы слушая свой голос, сказал он в ту сторону, где на бревне сидели солдаты, — пора выходить.

Солдаты не ответили, но по тому, как огоньки па-

пиросок стали вспыхивать ярче и чаще, было видно, что они заторопились.

Оставив их около крыльца, дежурный пошел в соседний дом докладывать лейтенанту.

Лейтенант Крымов сейчас же вскочил с кушетки, на которой спал не раздеваясь, в сапогах, посидел немного, растирая ладонями щеку, отгоняя сон, и, поправив ремень, вышел вслед за дежурным.

Пока дежурный ходил будить лейтенанта и возвращался с ним обратно, солдаты молча стояли около крыльца. Получив боевую задачу, они зарядили винтовки и ушли. Во дворе в предрассветном сумраке остались только лейтенант и дежурный. Лейтенант зевнул, потянулся и сказал:

— Спать хочется, Лебедев.

— Не выспались, — сказал дежурный, — наряды круглую ночь туда и обратно идут.

Лейтенант, махнув рукой, сказал:

— В случае чего, буди. — И пошел домой досыпать.

А Попов и Силантьев, выйдя из ворот и свернув направо, пошли по дороге.

— Новый начальник что-то и не инструктирует нас, все лейтенант Крымов, — сказал Силантьев.

— Накуриться не дал, — с сожалением сказал Попов, думая о дежурном и с сердцем вскидывая на плечо ремень винтовки. — Мне так сдается, — сказал он, пройдя несколько шагов молча, уже другим, мягким голосом, — что они поделили промеж себя обязанности. Товарищ старший лейтенант — он боевой, он все, значит, занятия проводит, а Крымов — этот на инструктаже наспециализировался, так сказать, по службе.

— Кому что, — поддержал его Силантьев.

Солдаты больше не сказали друг другу ни слова. В двух километрах от заставы дорога резко сворачивала вправо. Солдаты пошли лугом. Трава на лугу была некошенная, густая; половина ее полегла, перепуталась с той, что стояла. Солдаты не прошли по лугу и ста шагов, а штаны их почернели на коленках от росы, выпавшей к рассвету. Когда миновали луг, начались высокие заросли камыша. Теперь они шли узкой, едва заметной тропой, проложенной в камышах. Под ногами зачавкало, стали попадаться растопыренные черные коряги. В камышах стоял монотонный гул мошкары.

Силантьев шел следом за Поповым, держа винтовку в руках. Когда под его ногами чавкало слишком громко или трещал камыш, Попов оглядывался и, зло скаля ровные широкие зубы, молча и укоризненно качал головой. Так они добрались до указанного им места, и как раз тогда взошло солнце. По-прежнему не говоря друг другу ни слова, солдаты легли на примятый камыш. Он здесь совсем поредел, и им были хорошо видны берег озера, деревня, лодка у берега и желтая дорога, взбегавшая, извиваясь среди толстых ив, на холм, где стояла большая белая церковь.

Так молча они пролежали несколько часов, наблюдая за местностью. Деревня, берег, озеро, лодка, дорога, убегающая на холм, лежали по ту сторону границы, в другом государстве.

Было тихо. Ясное утро начиналось над землей. В деревне затопили печи. Дым из труб потянулся к небу. То и дело разноголосо во всех концах деревни пели петухи. Потом по дороге с холма от церк-

ви пропылила телега. Парой гнедых лошадей правил крестьянин, подпоясанный широким красным кушаком, в широкополой темной шляпе-грибе.

Солнце поднималось все выше и выше. В деревне из труб перестал идти дым. На солдатах уже высохла промокшая одежда. Силантьевым постепенно одолевала дремота. Чтобы отогнать ее, он стал поворачиваться с боку на бок. Попов сердито дернул его за рукав. Силантьев оглянулся на него, но Попов смотрел уже в другую сторону.

Из деревни вышла женщина и вдоль берега направилась к тому месту, где лежали солдаты. В руках у нее был серп и пустой мешок. Невдалеке от границы она положила мешок на землю и стала жать осоку, выбирая траву посвежее. Жала она не спеша, поглядывая в сторону границы, носила траву охапками к мешку. Набив его, женщина с мешком на спине легко, почти не сгибаясь, пошла к деревне. Солдаты наблюдали за ней до тех пор, пока она не скрылась на деревенской улице. Им пора было возвращаться на заставу, они поднялись и, пригибаясь, тихо тронулись обратно. Заговорили только выйдя на дорогу.

— Чудно! — сказал Силантьев. — Видал, как она поглядывала в нашу сторону?

— Видал? — передразнил Попов. — Ясно, видал. Почти час жала мешок осоки.

— Я и то думаю: разве у них другого места нет, где осока?

— У каждого свое на уме. Наше дело с тобой посматривать да на ус мотать. Понял? — сказал Попов, когда они уже подходили к воротам заставы.

Старший лейтенант Прохоров сидит во дворе на том самом бревне, на котором ночью курили солдаты. Теперь видно, что бревно толстое, короткое, серое, с ободранной корой. Около него растет корявая суковатая верба, в закат она дотягивается своей тенью через весь двор до крыши казармы и лежит на ней до сумерек. Прохоров сидит в тени под деревом, а около него, весь на солнце, стоит лейтенант Крымов и с недовольным видом ожидает, что скажет ему Прохоров.

Он считает начальника лентяем и недоумевает, зачем его прислали. Три месяца он работал один, устал, но с появлением Прохорова легче ему не стало.

«Ну, предположим, ты воевал, — думал Крымов, стоя перед Прохоровым, — побывал в Европе, но зачем же ты приехал на границу, если не любишь эту службу?»

Крымов доложил начальнику, что утром на со-предельной стороне была замечена молодая женщина, близко подходившая к границе. Крымов предлагал поэтому на следующую ночь усилить наряд на этом участке. А Прохоров медлил давать свое согласие. И то, что он медлил соглашаться с Крымовым, которому хотелось поспать после обеда, — ночью он почти совсем не спал, — злило Крымова.

— Все-таки я не понимаю, — рассуждал Прохоров, — девчонка какая-то подошла к границе, ну и черт с ней, на самом деле. Ведь она ушла! Зачем же мы людей туда погоним? — Он поглядел на заместителя, подумав: «Надо ему отдохнуть, устал парень...»

Крымов что-то хотел сказать, но Прохоров перебил его:

— Можете, конечно, выслать туда усиленный наряд, я даже сам туда пойду. Да, пойду сам, — он оживился и, обрадовавшись тому, что решил идти сам, еще раз повторил: — Пойду с ними сам. Но дело не в этом. Я хотел бы поговорить с вами о другом. Неужели вам, взрослому человеку, не ясно до сих пор, что вы чрезмерно сгущаете краски и усложняете жизнь себе и солдатам? Ну скажите, какой это враг — девчонка? Мы с вами стоим на границе дружественной страны, война кончилась...

— Дружественная, но капиталистическая, — сухо поправил его Крымов.

Наступило молчание.

— Вот когда я воевал, — раздумчиво сказал Прохоров, глядя под ноги и как бы отвечая себе на какой-то вопрос, — я видел врага. Он был перед моими глазами — фашист, и я его бил. А теперь? Войны-то ведь нету, дорогой мой! Фашистов-то мы разбили, — он нарочно сделал ударение на слове «мы», чтобы Крымов понял, что не он бил фашистов. — Врага я видел вот так, как вас сейчас, — близко. Я даже дыхание его на лице своем ощущал, три раза был в рукопашной.

— Страшно? — доверчиво спросил Крымов.

— Что, страшно?

— В рукопашной.

«Побыл бы — так узнал, страшно или нет», — усмехнувшись, подумал Прохоров и отрицательно покачал головой.

— Так вот, я видел врага, — продолжал Прохоров, — и я знал, что это мой враг, моей Родины

враг, моего брата, матери, всего, что для меня дорого, и я его не щадил.

Крымов с удивлением глядел на Прохорова.

— Давайте, — сказал Крымов, — поговорим на чистоту, как коммунисты. Хотите?

— Давайте, — сказал Прохоров, подвигаясь и уступая ему место.

— Я не был на войне, это верно, — начал Крымов, садясь рядом с ним, и, сняв фуражку, вытер высокий лоб платком. — Я все время на границе. Вы вот говорите, видели там врага. Это, верно, проще, когда видишь и знаешь, что это — враг. В обороне, например, знаешь, что через какие-нибудь триста метров от тебя враг. Он показался, ты в него стреляешь — и все. А у нас такая служба. Вроде редко видим врага, а он все время около нас. Вы сказали: «Война кончилась, какие теперь враги!» А ведь беспокойно?

Прохоров пожал плечами.

— Вот у нас сосед. — Крымов кивнул в сторону границы. — Ничего как будто, правда? Уважает нас, и все такое. Вполне порядочный сосед. Но все же это — другое государство... и у нас должны быть от него секреты. Ну, даже не сосед допустим, не он, а кто-нибудь другой поинтересуется. Наймет человека: сходи, мол, к русским, узнай поточнее, что они там у себя делают... Он и пройдет вот тут где-нибудь мимо нас...

— Все это ясно, — сказал Прохоров, — давно ясно.

— Почему, например, сегодня женщина около нашей границы бродила? Нам ее мысли неизвестны. С какой она целью там была? Вы знаете?

— Нет.

— И я тоже не знаю. А нам надо всё знать.

— Ладно. — Прохоров встал. — Я сегодня сам пойду с нарядом. Только все это... — он подумал, — мне кажется, идет у вас от крайней подозрительности.

Крымов усмехнулся, тоже встал.

— Труднее, понятно, — сказал он, — найти врага. Но наше дело такое. Обо всем надо подумать, встретив человека: кто он, что, зачем? Что у него на уме? Во всяком случае, я так привык.

— Ясно, — сказал Прохоров. — Все ясно.

Ему стал неприятен этот разговор, и он хотел поскорее его закончить.

4

В тот же день поздно вечером старший лейтенант Прохоров с теми же самыми солдатами Поповым и Силантьевым, которые были ночью в камышах, отправился в наряд.

Пока шли по дороге, солдаты держались позади Прохорова, но, как только свернули в поле, впереди пошел Попов, который хорошо знал здешние места, потом Прохоров, потом Силантьев.

Ночь стояла темная, тихая и теплая. Когда вошли в камыши, потянуло душной болотной гнилью и запахло стоячей цветущей водой. Прохоров то и дело смахивал ладонью комаров, обжигающих лицо и назойливо поющих около ушей. Попов шел впереди не останавливаясь, находил невидимую тропу и ступал по ней легко; шагов его совсем не было слышно. Прохоров старался идти так же неслышно, как шли солдаты, ему тоже удавалось это, и он протискивался сквозь стену камыша с радостным,

взволнованным чувством. И хотя он по-прежнему не верил, что кто-то попытается пройти в эту ночь через границу, но эта темнота, неслышно идущие позади и впереди его солдаты с заряженными винтовками, готовые в любую минуту, как на войне, стрелять, и сам он с ними с автоматом наготове — все это вернуло его к тем недавним дням, когда он с группой солдат-смельчаков уходил в разведку.

Попов остановился, потоптавшись на месте, лег. Прохоров понял, что они пришли. Под боком был сухой камыш. Прохоров лег на спину и стал глядеть в небо.

Где-то далеко лаяла собака. Потом наступила общая тишина. Она текла над землей, густая и плотная, впитывая в себя неясные сонные шорохи и всплески и донося их до притихших людей отчетливо и чисто, каждый шорох отдельно. И вдруг где-то затрещал камыш. Это был тихий треск. Поначалу было не угадать, откуда он идет. Прохоров мгновенно перевернулся на бок, чтобы лучше слышать, и приподнялся на локте. Солдаты тоже насторожились. Долгое время ничего не было слышно. И вот, когда всем стало казаться, что никакого треска вовсе и не было, он вдруг возобновился уже яснее с той стороны. Кто-то пробирался сюда, раздвигая камыш.

Треск все приближался и приближался. Попов привстал на колени. Силантьев сделал то же. Прохоров хотел тоже приподняться на колени, чтобы удобнее было вскочить, но треск оборвался. Кто-то теперь стоял в пятнадцати шагах от засады и слушал. Солдаты замерли в неудобных позах, боясь шевельнуться. Не двигался и тот, кто остановился впереди. Прошли тягостные минуты. Но вдруг треск

пошел кругом, и стало слышно, как зачавкала вода, потом громко плеснула, раздалось фыркание, торопливое шлепанье по воде, и опять пошел кругом удаляющийся треск камыша.

— Кабан, черт! — весело прошептал Попов, и оттого, что это был не человек, а кабан, всем стало весело.

— Как он хрюкнул да в сторону, — прошептал Силантьев, тихо смеясь.

Все опять улеглись и стали ждать, но теперь уже не один Прохоров, а и солдаты были убеждены в том, что никто не придет.

Прохоров опять лег лицом к небу, подложив под голову руки, и увидел, как вся восточная часть неба посветлела и этот свет незаметно все дальше и дальше растекался по небу, как вода, и гасил собой звезды.

Запели в деревне петухи, где-то по дороге застучали колеса телеги. И этот подпрыгивающий стук быстро ехавшей телеги был мирным, успокаивающим звуком, и всем хотелось подольше слушать его.

Наступило утро. Вдруг Прохорова охватило беспокойство. Он подумал: «Почему же, черт возьми, ничего не произошло? Но, может быть, пока мы сидим здесь, что-нибудь случилось на других участках? Он попытался прикинуть, какими нарядами прикрыта на ночь граница в других местах, и не мог ничего представить себе, потому что, как всегда, план охраны составлял Крымов. Тогда он начал успокаивать себя тем, что Крымов и до него и при нем все время занимался охраной границы, что он опытный офицер и знает, как и где прикрыть участок. Но беспокойство его, раз возникнув, уже не

проходило. Напротив, хотелось как можно скорее вернуться на заставу, узнать, везде ли ночь прошла спокойно. Но надо было лежать в засаде и ждать до конца.

Утро занималось ясное, чистое, свежее. С восходом солнца туман поднялся выше и растаял. Над деревней в чистом воздухе закурились дымки труб, к озеру пришли рыбаки, неся вчетвером на длинной жерди обвисшую во многих местах серую сеть. Засучив штаны до колен и бросив сеть в две большие черные лодки, рыбаки мягко поплыли по синей, спокойной и густой воде.

— Вот она опять идет, — прошептал Попов, и Прохоров, оторвавшись от рыбаков, увидел, как женщина с серпом и мешком идет от деревни, оглябая берег озера.

Вскоре она вошла по пояс в осоку и принялась жать ее.

Ничего странного в том, что она жала траву около границы, или в том, что изредка поглядывала в их сторону, не было, но Прохоров был обеспокоен самым ее появлением. Настороженность проснулась в нем, и он опять подумал об остальных участках границы: все ли там в эту ночь прошло спокойно? Сейчас, в эти часы, проведенные в засаде, он как бы со стороны посмотрел на вверенную ему заставу и, как всегда бывает в подобных случаях, когда смотришь на что-то очень знакомое со стороны, увидел заставу совершенно иначе и по-иному подумал о Крымове. И ему стало неудобно перед этим трудолюбивым, немногословным, простым человеком, стыдно за то, что раньше думал о нем плохо.

Когда женщина, набив мешок травой, ушла легкой походкой к деревне по серенькой тропке, как

по половику, расстеленному на траве, Прохоров поднялся, разрешая этим подняться и солдатам, и все они быстро пошли к заставе. Выйдя на дорогу, Прохоров разрешил закурить, и, свертывая папироски, солдаты разговаривались.

— Как он хрюкнул, кабан-то, да по болоту. Учужал, — сказал Силантьев посмеиваясь.

— А в бочаг как завалился, — подсказал Попов, — вот небось страху-то было!

Прохоров вернулся на заставу с иными чувствами, чем ушел. Ночь, проведенная с солдатами в камышлах, резко изменила его отношение к здешней обстановке. Тревожное чувство ответственности за порученный ему участок границы, посетившее его в эту ночь, вернуло утраченную было с окончанием войны фронтную подобранность и строгость. С этого времени он уже не только сам, но и другому не позволил бы говорить, что на заставе не занимаются делом. И хотя ничего особенного не произошло в ту ночь, он почувствовал, что здесь самый настоящий передний край обороны страны со всеми его тревогами.

Шагая рядом с солдатами, он опять вспомнил о Крымове, о том, как тот говорил с ним во дворе заставы. Теперь он уже и сам думал так, как Крымов.

«Да, нашу страну видят отовсюду, со всех сторон, из всех государств», — думал он, и сознание этого наполнило его гордостью.

Рассказав Крымову о том, что женщина опять подходила к границе, он спросил, что тот думает об этом.

— Надо будет продолжать наблюдение, — ска-

зал Крымов, ожидая, что Прохоров опять станет возражать.

Но Прохоров в волнении прошелся по комнате от окна к двери. Крымов сидел на диване, следя за ним, а он вдруг остановился против Крымова и, покраснев, сказал:

— Знаете, я во многом ошибался. Во всем. Я прошу вас помочь мне, потому что вы опытнее и знаете гораздо больше. Давайте сейчас вместе составим план охраны на будущие сутки, — и, поглядев со смущенной улыбкой на Крымова, добавил:— А то ходят тут всякие. Черт их знает, действительно, что у них в голове...





Лев ЛИНЬКОВ

Последняя улыбка „Хризантемы“

Трудно узнать в этой обледеневшей, засыпанной снегом шхуне красавицу «Хризантему». Бушприт превратился в огромную неуклюжую ледяную болванку, наклоненные к юту фок- и грот-мачты и длинные реи тоже обледенели. Снасти смерзлись, провисли под тяжестью снега. Даже рында и та в снеговой шапке.

Вокруг «Хризантемы» громоздятся торосы. Они сжали ее, наклонив на левый борт.

Не видно на местах расторопного экипажа, не отдает с мостика команды юркий черноволосый шки-

пер. Если бы не дымок, поднимающийся из железных труб над носовым кубриком и над камбузом, да не занесенная снегом фигура человека с автоматом через плечо у двери в тот же камбуз, можно было бы подумать, что на «Хризантеме» давно уже никого нет, что это мертвый корабль.

— У камбуза — Алексей Кирьянов, — объяснил капитан третьего ранга, когда я рассматривал фотографию.

— Почему же он оказался на «Хризантеме» один?

— Фактически оказался один, — с всегдашней своей точностью поправил Баулин. — Первое время нарушителей в кубрике сторожил и боцман Доронин.

— Это операция у мыса Туманов?

— Она самая, — кивнул Баулин. — Ох, и переволновались за трое суток все мы на «Вихре»! Рацию «рыбаки» успели испортить, самолетам мешала непогода, и мы никак не могли узнать, что же происходит на «Хризантеме». — Баулин довольно усмехнулся: — Больше уж она никогда не будет издеваться над нами и водить за нос.

— Она затонула?

— Цела-целехонька.

— Тогда я ничего не понимаю, — осталось признать мне...

В ту зиму свирепые январские циклоны разломали лед у берегов Камчатки, и его понесло к Курильской гряде. С каждым днем льды наваливались все гуще и вскоре начали забивать бухточки и узкие проливы между островами.

В сравнении с материковыми морозы были не так уж злы: двенадцать — четырнадцать градусов, но на океанском ветру всех румбов стоили тридцати.

Волны, обрушиваясь на корабль, стыли на студеном ветру, покрывая толстым слоем льда фальшборт, палубу, надстройки, орудия. Корабль тяжелел, погружаясь глубже ватерлинии. Скалывание льда превращалось чуть ли не в непрерывный аврал.

Четыре часа вахты тянулись как вечность, время отдыха пролетало мгновенно. В сушилке не успевали просыхать панцири-плащи и бушлаты, кок не успевал кипятить обжигающий чай.

Пересекая разными курсами заданные ему квадраты, «Вихрь» только что сбросил за борт несколько тонн сколотого льда. Наступило очередное хмурое утро. Капитан третьего ранга собирался сдать вахту помощнику и спуститься в каюту, чтобы хоть часика два поспать, когда впередсмотрящий Левчук доложил о появлении в наших водах «Хризантемы». Впрочем, тотчас же увидел ее и сам Баулин.

Шхуна вынырнула из-за скалистого мыса необитаемого острова, ритмично постукивая своим стосорокасильным «симомото». До нее было меньше кабельтова — метров сто, и Баулину даже показалось, что знакомый черноволосый шкипер — на этот раз голову его украшал треух из меха лахтака — осклабился во весь рот.

«Смеешься?!» Баулин вмиг вспомнил все неприятности, которые пришлось претерпеть из-за этой нахальной шхуны.

Однако тут же он понял всю серьезность положения: метрах в полтораста левее «Хризантемы», как гигантский занавес, надвигался туман. Такой туман, наплывающий резко обозначенными полоса-

ми, — явление редкое вообще и особенно в холодное время года. Но факт оставался фактом.

«Хризантема» свернула с курса и ринулась навстречу туману, как перепуганный ястреб.

Колоколом громкого боя на «Вихре» была объявлена боевая тревога, в машину дана команда «Полный форсированный!». На фалах подняли сигнал по международному коду «Требую остановиться!».

Никакого впечатления! «Хризантема» продолжала нестись к спасительному туману. Не остановила ее и зеленая ракета.

Баулин знал, что шхуна хорошо приспособлена для плавания в битых льдах: у нее окованный форштевень, противоледовая обшивка из дуба, стальной руль. Неужели опять удерет? В густом тумане, во льдах поймать ее будет трудно. Еще пара минут — и «Хризантема» войдет в этот туман...

Баулин дал предупредительный выстрел из носового орудия.

Шхуна застопорила ход.

«Следовать за нами!» — подняли сигнал на «Вихре». — «Следовать своим ходом не могу, сломалась машина», — ответил шкипер «Хризантемы», хотя всего минуту назад «симомото» стучал без перебоев.

Уже в полосе тумана «Вихрь» подошел к шхуне и, высадив на ее борт обзорную группу, взял «Хризантему» на буксир.

На этот раз юркий черноволосый шкипер не кланялся, не извинялся, он только зло сказал, что очутился в советских водах из-за тумана.

— Из-за тумана? Но ведь туман только-только нагрянул, — возразил Баулин.

Однако шкипер продолжал гнуть свое: он будет

протестовать, он не виноват, виноват туман. И опять старое: «Хризантема» не собиралась ловить рыбу. Советские пограничники могут убедиться — в трюмах ни одной рыбешки. Сети сухие, уложены в ящики в форпике.

Наглость шкипера могла бы вывести из себя даже глухонемого. Баулин, заложив руки за спину, барабанил пальцами о ладонь.

Рыбы действительно в трюме нет, сети действительно сухие и уложены в ящики. Но зачем все же понадобилось «Хризантеме» заходить в советские воды? Опять туристическая прогулка? Тогда где же путешественники? Ах, шкипер тренирует молодой экипаж! Обучает молодежь плаванию в сложных метеорологических условиях, обращению с локатором, эхолотом и радиопеленгатором! Допустим. Но как же можно выходить в учебное плавание с неисправной машиной?..

— Двигатель в полной исправности, — доложил Баулину мичман Доронин. — Нет подачи в топливной магистрали.

Двигатель новенький, а хитрость старая, шитая гнилыми нитками: пока «Вихрь» подходил к «Хризантеме», «молодые рыбаки» постарались насовать в трубопроводы всяких затычек.

Механик не видел, как это сделали?! Очень похвально для опытного аккуратного механика!..

Кожаная заграничная куртка с застежками-молниями на механике новенькая. И все крепыши матросы почему-то в новеньком американском шерстяном белье, будто японцы разучились сами делать отличное белье.

Зачем же на этот раз «Хризантема» пожаловала в советские территориальные воды?

Ответ на вопрос нашелся не сразу, но он оказался как нельзя более убедительным.

Осматривая один из отсеков носового трюма шхуны, Баулин — он и на этот раз возглавил осмотровую группу — обратил внимание на то, что отсек этот как будто бы на полметра короче других. Измерили соседние — точно: короче на шестьдесят сантиметров. Глухая поперечная переборка при простукивании загудела, как днище пустой бочки. Что же за ней?..

Громкие протесты шкипера ни к чему не привели: Баулин приказал взломать переборку. Впрочем, пускать в ход топор и ломы не пришлось: мичман Доронин обнаружил дубовые клинья, загнанные между внутренней обшивкой борта и верхним и нижним брусьями продольной переборки. Стоило вытащить клинья, и ложная поперечная переборка отвалилась. За ней находился потайной отсек, до половины заполненный какими-то тщательно упакованными приборами, аккуратно свернутыми оболочками малых воздушных шаров, легкими контейнерами и стальными баллонами.

Картина ясная: «Хризантема» никогда не была гидрографическим судном и не несла метеорологической службы. А если бы даже и несла такую службу, то зачем же упрятывать научные приборы в тайник? И зачем снаряжать воздушные шары-зонды американскими фотоаппаратами с телеобъективами и автоматическими телепередатчиками? Оборудование явно разведывательного назначения!

Шары предназначались для запуска в наше советское воздушное пространство, тут нечего и гадать! Вопрос в другом — не успела ли «Хризанте-

ма» уже запустить несколько таких шаров-шпионов?

Однако все это будет выяснять уже не Баулин. Задача «Вихря» — задержав нарушителя границы с поличным, доставить его на базу. И доставить как можно скорее, пока не испортилась вконец погода.

Баулин невольно прислушивался к шороху и скрежету за бортом: льды все напирают и напирают. Должно быть, где-то к северу тайфун разломал огромное ледяное поле. Вот о борт ударилась крупная льдина, еще одна. Шхуна задрожала от кили до клотика. А «Вихрь» ведь почти не приспособлен к плаванию в ледовых условиях, металлическая обшивка его корпуса не так мягко пружинит, как деревянная, усиленная дубовыми обводами обшивка «Хризантемы».

Поднявшись из трюма шхуны на палубу, Баулин понял, что заниматься «симомото» уже нет времени: льды окружили суда со всех сторон.

— Останетесь с Кирьяновым на шхуне, — приказал Баулин боцману.

Трюм с отсеком-тайником был задраен и опечатан, команду шхуны заперли в носовом кубрике, переброшенный с «Вихря» буксирный трос закрепили за кнехты на носу шхуны.

Разумеется, Баулин строго-настрого наказал Доронину, чтобы ни одна душа из экипажа «Хризантемы» не пробралась в трюм: там вещественные доказательства того, что шхуна заслана в советские воды с преступными целями. На сей раз юркому шкиперу не уильнуть от суда!

С трудом развернувшись в битых льдах, «Вихрь» лег курсом к острову Н.

Похолодало. Туман отступил перед крепчающим морозом, волнение было не больше трех баллов, и Баулин прикинул, что часа через три, не позже, сторожевик ошвартуется на базе. Время от времени поглядывая за корму, он видел там кланяющуюся волнам «Хризантему», Алексея Кирьянова на баке и радовался, что на этот раз все обошлось как нельзя более удачно.

Баулин вспомнил последнюю встречу с «Хризантемой», когда она пыталась отвлечь сторожевик от кавасаки, груженных креозотом, тайфун «Надежду» и то, как он волновался тогда за судьбу унесенных в ночь пограничников...

Теперь песенка разбойничьей шхуны спета!..

Можно бы наконец-то спуститься в каюту, ну да успеем отдохнуть и дома. Он только попросил вестового принести в рубку термос чая погорячее и покрепче.

От резкого ветра на глаза навернулись слезы. Сморгнув их, Баулин схватился за бинокль. Этого еще не хватало!

С юго-запада несло сизо-свинцовое растрепанное облако. Шквал! Минут через пятнадцать-двадцать он пригонит с собой вздыбленные океанские волны.

Не будь за кормой «Вихря» шхуны, Баулин поставил бы его встречь шквалу. Но «Хризантема» беспомощна: машина не работает, у штурвала один мичман Доронин. Кругом битые льды. Шквал, без сомнения, оборвет буксирный трос. Слишком памятен был капитану третьего ранга тайфун «Надежда», чтобы отважиться рисковать и людьми и шхуной... «Вихрь» находится неподалеку от необитаемого скалистого островка. Там есть бухточка. Нуж-

но завести туда шхуну и поставить на якорь. Баулин отдал необходимые команды.

За несколько минут до того, как налетел шквал, Доронин и Кирьянов успели отдать якорь за скалистым мыском. Для второго судна места в бухточке не было, и «Вихрь» пришлось выйти в открытый океан.

Баулин рассчитывал, что, как только пройдет шквал — ну, через полчаса, через час, — «Вихрь» вернется к острову и снова забуксирует шхуну. Однако на деле все обернулось иначе: шквал принес с юго-запада потоки теплого воздуха, с севера вместе с битыми льдами шли массы холодного. Они столкнулись, и начался затяжной ледовый шторм. Температура упала до минус восемнадцати.

Двое суток боролся «Вихрь» с волнами, ветром и битыми льдами, поневоле отходя к югу. Когда же шторм утих наконец, обледенелый сторожевик не смог пробиться к бухточке: путь преграждали торосы.

— Веселей, чем у бабушки на свадьбе! — усмехнулся Доронин, оттирая щеки и уши.

Наступил ранний январский вечер, а шторм и не думал утихать. Нечего было и надеяться, что «Вихрь» вернется сегодня за «Хризантемой».

А бухточка скорее походила на ловушку ставного невода, чем на спасательную гавань. От океана ее отделяла невысокая каменистая гряда, шириной метров в семь, не больше. Ударяясь о гряду, огромные волны перехлестывали через нее и окатывали притулившуюся шхуну холодным, тяжелым ливнем.

Выбивая на обледенелой палубе чечетку, размахивая руками, Алексей никак не мог согреться.

Дверь носового кубрика сотрясалась от непрерывных ударов. «Рыбаки» вопили, что они замерзают, что они голодны, требовали затопить печку и дать им горячий ужин. Из всех голосов выделялся пронзительный фальцет шкипера.

— Образованный господин, — кивнул Доронин на дверь: шкипер выкрикивал ругательства и на японском, и на английском, и на русском языках.

— Две недели в нервном санатории, и синдо будет здоров, — пробормотал сквозь зубы Алексей.

— Плюс два года за решеткой, — уточнил Доронин.

Однако шутки шутками, а нужно было что-то предпринимать. Приказав Алексею стать с автоматом на изготовку у двери в кубрик, Доронин притащил из камбуза корзину угля и, вежливо предупредив японцев, чтобы не шумели зря, передал им уголь и коробок спичек. Когда в железной печке затрещал огонь, Доронин потребовал коробок обротно: со спичками баловать не положено.

Вскоре разгорелась и печка в камбузе, был разогрет бульон из кубиков и чай.

Бульонные кубики, галеты, шоколад говорили пограничникам не меньше, чем новенькое заграничное белье экипажа: обычно ловцы и матросы японских шхун питаются вонючей соленой треской и прогорклой морской капюстой.

— Усиленный рацион шпионского образца! — буркнул Доронин.

Сами они с Алексеем по очереди поужинали в камбузе.

В том же камбузе они будут и отогреваться по очереди. Через каждые два часа. Так решил мичман. Правда, можно располагаться на отдых в кор-

мовой кают-компании — два мягких кожаных кресла, все удобства, — но, во-первых, следует экономить уголек, а во-вторых — и это главное, — от камбуза ближе к кубрику с арестованными. Мало ли что может случиться.

Сняв гакобортный и бортовые фонари, Доронин дополна заправил их маслом, зажег и поставил на палубе, прикрыв с боков бухтами манильского троса и парусами. Из шкиперской кладовой были извлечены запасные парусиновые плащи.

— Теперь нам сам «Егор — сними шапку» не страшен, — сказал боцман, первым заступая на ночную вахту.

— Какой Егор? — не понял Кирьянов.

— Так мой батя норд-ост кличет.

Ночь прошла спокойно, если не считать того, что волны окатывали и окатывали шхуну и она обледенела, потеряв всю свою недавнюю красоту. Раз десять принимался идти снег, и пограничники не успевали очищать от него фонари.

Зато с рассветом неприятности посыпались, как горох из худого мешка. Бухточку начало забивать обломками льда. Они с грохотом громоздились друг на друга, подпирали шхуну, и та заметно накренилась на левый борт. Крепкий корпус потрескивал, в кормовом трюме обнаружилась течь. Если бы двигатель работал, можно было бы пустить в ход мотопомпу, но «если бы», как известно, в помощники не годится.

Кое-как законопатив трещину паклей и откачав воду ручной помпой, Доронин поспешил к носовому кубрику на стук и вопли арестованных.

— Роске! Роске! — звал явно перепуганный ски-

пер. — Летаем воздух! Бомба! Бах-бах! Будет взрыв!

— Тихо! — прикрикнул Доронин. — Говорите реже и точнее.

«О какой бомбе вопит синдо? Во время обыска на «Хризантеме» не было найдено ни одной бомбы...»

И тут Доронина осенила догадка. Это действительно вроде бомбы! В трюмном отсеке, под фонарной и малярной кладовкой, хранятся банки с карбидом. Обычно рыбаки заправляют карбидом плавающие фонари на ставных неводах «Ако-Мари». По ночам фонари обозначают невода, оберегая их таким образом от судов. Соединись карбид с водой — взрыв!

Что делать? Выбросить банки с карбидом за борт нельзя, они разобьются о торосы — опять-таки взрыв или пожар...

Вспотев от страха и тяжести, Доронин перетащил все банки в штурманскую рубку (Алексей в это время стоял на часах). Теперь, даже если шхуна полузатонет и ляжет на грунт, вода не дойдет до карбида. Доронин измерил глубину по бортам шхуны и несколько успокоился: вода не покроеет и палубы.

Ликвидировав «очаг возможной опасности» — так он назвал склад карбида, — боцман перелез через фальшборт на торосы и сфотографировал «Хризантему».

— Для отчета, — объяснил он Алексею.

С запада бухточку обступили отвесные скалы, со стороны же океана низкая каменистая гряда не могла препятствовать шторму творить все, что ему вздумается. Фок-рей, утяжеленный льдом и снегом, не выдержал порыва девятибалльного ветра:

переломился и с треском и звоном полетел вниз. Раскачиваясь на смерзшихся вантах, он со всего размаха ударил Доронина в грудь, и тот свалился, как подрубленный.

— Не волнуйся, Алеха! Ключицу перебило, — прошептал боцман подбежавшему Алексею...

Так Алексей фактически остался один против тринадцати здоровенных озлобленных парней. Правда, парни были заперты в кубрике, но ведь им нужно носить и уголь и пищу...

Через иллюминатор в тамбуре кубрика японцы видели, как был ранен боцман. Видели они и то, как Алексей унес его в камбуз.

Скоро ли кончится этот окаянный шторм? Скоро ли подойдет к острову «Вихрь»? Да и сможет ли он вытащить «Хризантему» из этой ледяной ловушки?..

Вернувшись на пост к кубрику, Алексей услышал, что кто-то зовет его по имени. Что за чертовщина? Уж не спит ли он, стоя на ногах?

— Алексея! Эй, Алексея, ходи сюда близкоко...

Вот в чем дело! Его зовет шкипер. Должно быть, он слышал, как они с Дорониным разговаривали.

— Что надо?

— Иди близкоко. Важное разговор. Обязательно.

Алексей подошел к двери кубрика, держа палец на спусковом крючке автомата.

— Важное разговор, — учтиво продолжал шкипер. — Твоя холодно. Иесть саке, водка. Мало-мало пей — холод нет.

— Черта с два! — усмехнулся Алексей.

— Плохо! Твоя хочет деньги?

— Что? — возмутился Алексей. — Молчать!

— Зачем молчать? — Шкипер заговорил торопливее. Положение их скверное: ледовый шторм бу-

дет продолжаться еще дней пять, если не все десять. Продуктов хватит на два дня, угля — от силы на сутки. Они все умрут от голода или замерзнут. Замерзнет и раненый боцман Семен. Выход только один: Алексей должен выпустить из кубрика его, шкипера, и радиста. Они починят радию и вызовут какое-нибудь судно. Если не придет судно, то они спустят две шлюпки и поплывут, куда им надо. В шлюпках есть баллоны с воздухом, и шторм им не страшен. Шкипер заплатит Алексею двадцать тысяч рублей. Деньги есть деньги.

— Молчать! — гаркнул Алексей и зашагал поперек обледелой палубы, от фальшборта к фальшборту: четырнадцать шагов в одну сторону, четырнадцать в другую.

Он насчитал две тысячи восемьсот шагов, а из-за двери кубрика все еще доносился зудящий голос шкипера:

— Зачем такой молодой человек хочет замерзнуть? Разве у красивого Алексея нет невесты, которая его ждет? Неужели у Алексея вместо сердца стеклянный поплавок и ему не жалко боцмана?..

Алексей сбегал в камбуз, укутал боцмана парусиной, пододвинул к нему корзину с углем, чайник с водой, пачку галет.

— Управитесь без меня, товарищ боцман?

— Управлюсь, Алеша. Отдать носовые! Слева по носу неизвестное плавсредство!.. — У Доронина начался бред.

Прибежав обратно к носовому кубрику, Алексей увидел, что «рыбаки» успели выдавить стекло в иллюминаторе и стараются сбить запор рейкой, сорванной с потолка.

— Отставить! Вниз! — крикнул Алексей, наводя на иллюминатор автомат.

Прошла вторая ночь. Минул второй день. Шторм все еще неистовствовал. Палуба «Хризантемы» стала горбатой ото льда, по ней нельзя было ходить. Обжигая на морозном ветру руки, Алексей с великим трудом протянул от кубрика к камбузу обледенелый трос, закрепил конец и ходил, держась за него.

Чтобы нарушители не смогли выломать дверь, он подпер ее обрушившимся фок-реем, привалил около якорь-цепь. Пищу передавал японцам через иллюминатор, туда же вместо угля совал изрубленную обшивку фальшборта.

— Ремонт шхуны на мой счет! — отвечал он на протесты шкипера.

Третья ночь прошла для Алексея, как в угарном сне. Он почти не чувствовал ни рук, ни ног. Губы задеревенели, обмороженные щеки облупились. Все лицо опухло от холода.

Но он все-таки смог, как положено по уставу, отрапортовать капитану третьего ранга, когда тот пришел к острову на ледоколе.

— Такая вот история, — закончил свой рассказ Баулин.

— Что же вы сделали с «Хризантемой» и ее командой?

— Мы лично ничего не делали. Мы только буксировали ее в Энск, — сказал Баулин. — Шкипера судили. А «Хризантему» конфисковали. Документов ведь на ней никаких не было. А если б и были — какой владелец признается, что это он посылал шхуну со шпионским заданием?

Капитан третьего ранга помолчал.

— Документов не оказалось, владелец не признался, а кто хозяин — яснее ясного: дельфины к нам шары-разведчики не засылают... Да, я забыл сказать: до того, как мы ее задержали, «Хризантема» успела-таки выпустить два шарика. Их подбили наши истребители. Словом, они летели к району, фотографии которого мы вовсе не намерены дарить кому-нибудь на память...





Александр СЕРДЮК

В осеннюю ночь

Остапчук нервничал: он торопился на заставу, но «газик» то буксовал в грязи, то еле полз по разбитому проселку. Часто колеса совсем увязали, и тогда капитан выскакивал в грязь, толкал машину.

Он, конечно, не спешил бы так, будь его заместителем опытный офицер. Лейтенант Корольков назначен совсем недавно, и сегодня заставка впервые доверена ему. Все ли там благополучно?

Капитан приехал только поздно вечером. Боевой расчет был уже произведен, наряды ушли на границу. Своего заместителя Остапчук застал в канцелярии.

— Ну, как тут у вас, лейтенант? — спросил он,

едва переступив порог. — Что нового? — Остапчук прищурился, ослепленный после вечерней тьмы ярким светом лампочки; скулы его обрисовались еще резче. Пока он стаскивал с себя мокрую задубевшую плащ-накидку, Корольков доложил, что день прошел благополучно и что перед вечером он сам побывал на границе. Следовая полоса в порядке. Вот только погода испортилась.

— Да, погодка мерзкая, — повел озябшими плечами Остапчук. — Льет и льет... И море разыгралось.

Он покосился на темневшее окно. Порывы ветра рассыпали по стеклам белесые капли осеннего дождя; под окном скрипела береза.

— Сегодня, товарищ капитан, штормит особенно... Аж берег гудит...

Корольков еще не привык к морскому участку.

— Новость приятную вам привез, — меняя тон, проговорил Остапчук. — В штабе видел вашего бывшего начальника капитана Сизина. Его переводят, притом с повышением.

Сизин командовал заставой, на которой Корольков служил после училища. О Сизине на границе отзывались хорошо, но Остапчуку он чем-то не нравился. Корольков не совсем понимал, в чем тут дело. В конце концов молодой офицер стал избегать разговоров о своем бывшем начальнике. Сегодня же он откровенно обрадовался его успеху.

— Это здорово... Он заслуживает...

— Может быть, — коротко и равнодушно ответил Остапчук и потер руки, словно они у него озябли. — Ну ладно, поговорим о главном. Доложите план охраны... Где там у нас наряды?

Корольков ждал этого вопроса. Он расставил на границе людей не так, как это обычно делал Остапчук. Когда перед вечером лейтенант обходил участок, его особенно беспокоил левый фланг. Там в море впадала река, глубокая, с крутыми берегами. Лейтенант долго стоял у самого устья. Высокие штормовые волны с грохотом разбивались по всему побережью, а здесь они бесшумно вкатывались в реку, постепенно теряя силу. Корольков подумал, что в такой шторм нарушитель вряд ли рискнет пристать к скалистому берегу, там его наверняка разобьет. Но здесь он сможет проскользнуть, скрываясь за гребнями волн. Река течет из тыла, с участка соседней заставы. Берега ее заросли кустарниками, всюду нетрудно выбраться из воды. «Надо усилить наряды вдоль реки», — решил Корольков.

— Основные силы у нас здесь, — сказал он начальнику заставы, раскрывая схему участка. — Один наряд у самого устья, остальные по берегу: вот в этом кустарнике, в овраге, у старой сосны...

— И даже у сосны? — нетерпеливо переспросил капитан. — Я же никогда не посылал туда солдат. Густовато у вас получилось, густовато, — он покачал головой и зашагал по комнате. — Что же осталось на морском побережье? Или так: в одном месте густо, в другом пусто?

— К морю я действительно послал меньше нарядов, — стараясь оставаться спокойным, сказал Корольков.

— То есть как меньше? — серые глаза Остапчука расширились. — Вы оголили берег?

— Но ведь на море шторм.

Напоминание о шторме не успокоило капитана. Лицо его мрачнело.

Корольков задумался. Надо было бы сказать, почему он поступил так, объяснить, насколько опасна сейчас река, но лейтенант чувствовал, что разубедить начальника вряд ли удастся. Капитан явно не одобрял его действий.

— Я знал, что здесь что-нибудь не так, — сердито сказал Остапчук. — Нутром чувствовал. Еще эта слякоть, черт бы ее побрал! — Он устало потер ладонью широкий лоб и, вздохнув, спросил: — Наряды высланы?

— Так точно!

— Все?

— Да.

Остапчук замолчал. Как быть? Отменить решение заместителя? Конечно, исправить еще не поздно. Стоит только приказать, и наряды пойдут на новые места, к морю. И те, кто сейчас за несколько километров от заставы, на берегу реки, тоже переместятся на другой фланг. Стоит только приказать...

Остапчук медленно прошел к столу, грустно опустился на скрипнувший под ним стул. Корольков продолжал стоять у стены, следя за капитаном. Лицо его оставалось спокойным. Может быть, только чуть-чуть плотнее сжались губы.

Оба молчали. Остапчук не поднимал глаз, уставясь на исписанные листки, лежавшие перед ним. Сухо скрипнул стул, плечи капитана вздрогнули. Недовольно крикнув, он сжал хрустнувшие пальцы.

Корольков мягко спросил:

— Ну, что вы так расстроились, товарищ капитан? Ведь на море сегодня очень штормит. Разве в такую волну...

— Нельзя игнорировать опыт, товарищ Король-

ков, — перебил его капитан. — Или вам не известно, что мы и в шторм захватывали?..

Остапчук вспомнил весну, туманный рассвет, разбитую лодку на скалистом берегу. Нарушителя выбросило сильной волной и ударило о камни. Пограничники подобрали его полуживым. Когда задержанный пришел в себя, первым его словом было крепкое ругательство. Оказалось, он еще по радио с борта корабля, на котором его вместе с лодкой доставили к нашему берегу, предупредил своих, что высадка невозможна. Но шеф не согласился ни отложить операцию, ни изменить маршрут.

Об этом капитан рассказывал Королькову в первый же день его службы на заставе.

— Знаю, возразите, — сказал Остапчук. — Ведь нарушитель-то разбился! Но не все так глупы, как он. Деревянную лодку можно заменить резиновой. Удар будет смягчен... Сколько же у нас на побережье людей? — уже примирительно спросил он после небольшой паузы.

— Только дозоры. — Корольков выжидающе посмотрел на капитана. — Как же еще надо было? Ведь нарушение границы на побережье маловероятно. Неужели с этим не следует считаться?

— В нашем деле легко и просчитаться. Граница— дело точное. Так-то.

Опять помолчали.

— Вы бы, товарищ капитан, отдохнули с дороги. Небось, здорово намаялись?

— Какой тут отдых! Веселую ты мне ночку приготовил, товарищ Корольков, веселую! В порядке

эксперимента, что ли? — Остапчук сдержанно улыбнулся.

— Я вас не понимаю...

— Что же тут не понять? Думаешь, не догадываюсь, откуда у тебя эта любовь к новшествам? Я прекрасно знаю Сизина. Это его школа, его. Экспериментатор!

— Да, капитан любит новое.

— Рискует он много, — неодобрительно сказал Остапчук. — Слишком много. Что ж, ему покамест везет. А риск, товарищ лейтенант, палка о двух концах. На границе рисковать опасно. Здесь не семь, а десять раз отмерь, потом отрежь. Так-то... Мы со своим бывшим начальником весь участок равномерно охраняли. Не шарахались с фланга на фланг.

Капитан разыскивал в столе что-то, выдвигая ящик за ящиком. Корольков молча наблюдал за ним, расстроенный разговором о Сизине. «Разве не учат нас, — думал лейтенант, — работать творчески, как он? Разве то, что хорошо было вчера, устроит нас и сегодня?» Королькову вспомнился случай, происшедший с ним в пограничном училище. Дело было на тактическом занятии. Старший курс отрабатывал тему «Стрелковая рота в обороне». Руководитель занятия назначил Королькова командиром роты. Выслушав приказ, Корольков задумался: как построить ему боевой порядок своего подразделения? В конце концов он решил отвести взводам одинаковые позиции. Правда, на одном фланге участка было болото, но именно так поступил курсант, выступавший в роли командира роты перед Корольковым. Ему были даны та же местность и те же силы. Преподаватель выслушал Королькова и спросил: «А зачем вам столько людей держать пе-

ред болотом? Ведь по нему вражеские танки не пройдут, да и артиллерию не потащишь. Вы задачу решили так, как предыдущий товарищ, а того не учили, что он оборонял этот район зимой, когда болото проходимо».

Рассказав сейчас об этом капитану, Корольков чистосердечно признался:

— И, знаете, преподаватель мне тогда двойку вкатил. По шаблону, говорит, действуешь...

— Преподаватель был прав. Кто же так воюет! — сказал капитан.

Он повеселел, опять вышел из-за стола и, потирая руки, зашагал по комнате.

— Значит, двойку, говорите? Это он вам для памяти... Чтoб ошибку свою не забыли.

— Вот и помню. Урок нужный, и не только для фронта: граница тоже фронт. И здесь тоже надо маневрировать. Так что равномерное распределение...

Остапчук остановился, поднял глаза. Только сейчас до него дошло, почему так разоткровенничался заместитель.

— Ну, ну, учи своего начальника, учи, — со сдержанным укором сказал Остапчук. — Мало того что на практике уже поучил, так еще в теорию полез... Жаль, времени у нас с тобой нет. Ты иди отдыхай, я все равно не усну. После двадцати четырех побудешь здесь, я схожу на границу. Вот так...

Корольков хотел было сказать, что и ему сейчас тоже не до сна, однако раздумал.

Оставшись в канцелярии, Остапчук вызвал дежурного и приказал ему внимательно следить за сигналами с границы. Спокойнее на душе не стало.

Особенно тревожил правый фланг, где вдоль границы на несколько километров тянулся обрывистый, поросший леском берег и где только в нынешнем году застава задержала трех лазутчиков. Как там всегда было надежно и как опасно сейчас! Устроил же ему Корольков, стоило только отлучиться с заставы. Что будет дальше? Сделает ли он вывод из сегодняшнего урока, который посерьезнее, чем тот, в училище? На шторм понадеялся! Эх, лейтенант, лейтенант! Взять бы да и отменить твое решение. В другой раз продумывал бы лучше.

Зазвонил телефон. Капитан подошел к столу, снял трубку. Он сразу же узнал голос коменданта. Остапчук доложил, что на границе без происшествий, затем коротко сообщил о своей поездке в отряд.

— Как заместитель? — спросил майор. — Без тебя не растерялся?

— Работает. Энергичный. — Остапчук сказал о Королькове совсем не то, что хотел.

— Почаще наряды проверяйте, — посоветовал майор. — Кустарники да овраги у реки надежно прикрыли?

Остапчук осторожно положил на аппарат трубку.

«Ни слова о море, — подумал капитан. — А раньше всегда предупреждал».

Остапчук закурил. Подойдя к окну, чуть приоткрыл форточку, прислушался. И хотя море было далеко, даже здесь, на заставе, слышался шум прибоя. Через равные промежутки волны гулко били о скалы по всему побережью. И Остапчику тоже вдруг показалось маловероятным, чтобы в такую ночь нарушители попытались высадиться на побе-

режье. Мысль эта раздражала капитана, однако он все чаще возвращался к ней.

Набросив на плечи шинель, вышел во двор. Дождь, казалось, утихал, но ветер бил все сильнее, временами в тучах появлялись разрывы, обнажавшие куски звездного неба. Земля под ногами расползалась, в лужах чернела вода, с оголенных берез ветер густо сыпал тяжелые капли. Постояв немного, Остапчук направился в казарму. Людей там почти не осталось, спали лишь те, кому в наряд после полуночи. У простенка разбирал свою постель сержант Овечкин. Заметив начальника, он встал у тумбочки, поддерживая рукой край простыни.

— Пора и вам, товарищ Овечкин, отдыхать, — сказал капитан. — В полночь подниму.

— Успею, выплусь! — бодро ответил сержант.

— Э, нет, надо поспать.

— У меня, товарищ капитан, насчет сна давняя закладка. Еще до службы... Сутками, случалось, глаз не смыкал. Днем и ночью в море. И ничего!

— Знаю, знаю, что рыбаком был, — кивнул Остапчук, взглянув на спящих. — А волна, как считаете, сегодня крепко бьет? Вышли бы рыбаки в такое море?

— Куда там! Расшибет.

— Ну, отдыхайте, сержант.

Остапчук прошел между койками к выходу. Предательски скрипнули половицы, он оглянулся: не разбудил ли кого. Но все спали крепко.

Было около десяти вечера. Капитан вернулся в канцелярию, все еще думая о недавнем разговоре с заместителем: «Упрямый парень».

Мысли о границе по-прежнему не покидали его. Он опять представил себе побережье до соседних застав и немногих пограничников, оберегавших его. Вспомнил те случаи, когда лазутчики высаживались на берегу моря. «Зря, пожалуй, согласился с лейтенантом! Ведь если я не отменил, значит, одобрил то, что сделал он. Почти все ряды на одном фланге. Этого еще никогда не было.»

Тревога все росла. Остапчук невольно прислушивался к шуму моря, всматривался в темень, словно где-то над берегом вот-вот должна была взлететь сигнальная ракета. У окна над письменным столом тикали ходики: «тик-так, тик-так», а ему казалось: «не так, не так».

Да, сегодня все сделано не так, как обычно, как вчера или позавчера, в прошлом или позапрошлом месяце. Сделано совсем по-другому, и от этого беспокойно на душе...

Дождавшись полуночи, Остапчук вызвал заместителя и оставил его на заставе, а сам с сержантом Овечкиным вышел к морю. Начальник решил прежде всего пройти по кромке берега. Он шагал впереди сержанта с несвойственной ему торопливостью, скользя по грязи, расплескивая лужи, будто спешил по тревоге. С моря надвигался грохот разгулявшихся волн, он все нарастал, становился мощнее.

Расстояние в темноте обманчиво: казалось, еще несколько шагов и очутишься у воды. Но тропа то спускалась в вымоины, то поднималась на голые, скользкие камни. Наконец начальник заставы и сержант остановились у крутого обрыва. В берег яростно ударила волна, высоко взлетели брызги.

Ощувив на губах соленую горечь, Остапчук зло сплюнул и вытер ладонью мокрое лицо.

— Ну и штормяга! — пробурчал за спиной сержант Овечкин.

Новая волна ударила о скалу.

Остапчук молча направился вдоль берега. Как ни странно, но именно сейчас, в темноте этой непогожей ночи, на самом рубеже к нему постепенно возвращалось чувство уверенности. Овечкин заметил, что начальник больше не торопится, шаг его стал короче. Именно таким он видел его всякий раз, когда ходили вместе на границу.

Через четверть часа они встретили пограничный дозор. Старший наряда доложил, что на его участке все в порядке.

— Продолжайте службу, — сказал Остапчук. — Особенно следите за берегом... Не слишком надейтесь на его недоступность.

У большого серого валуна, выступавшего из темноты, начальника заставы окликнул старший второго дозора. Остапчук выслушал и его рапорт, спросил, как он себя чувствует, и, напомнив о необходимости бдительно охранять берег, повернул обратно. Теперь капитана тянуло на левый фланг. Только сейчас он подумал, что охранять границу в такую ночь вдоль реки, по кустарникам и оврагам, действительно трудно.

Остапчук снова заторопился. Но не прошел и километра, как где-то далеко впереди в небо взмыл ярко-красный шар. Капитан остановился, всматриваясь. Взлетела еще одна ракета.

— Где это, товарищ капитан? — с тревогой спросил сержант. — Не у нас ли?

Начальник заставы не ответил. Он и сам еще толком не разобрался, где взлетают ракеты.

Красный шар мгновение висел в воздухе, потом, рассыпая искры, начал таять, проваливаясь в темноту. Внизу под ним выступила крона старой сосны. Ракета, казалось, падала прямо на эту сосну, росшую на берегу реки, близ соседней заставы.

— У нас, товарищ капитан, — убежденно сказал сержант. — На самом фланге.

Он нетерпеливо топтался на тропе, пока начальник стоял в непонятной нерешительности.

— Сам вижу, — наконец недовольно и, как показалось Овечкину, зло проговорил Остапчук. — Не ослеп. Трубку!

Сержант быстро протянул ему телефонную трубку со шнуром. Капитан схватил ее и побежал вдоль берега. Волны обдавали его брызгами, он скользил и спотыкался на камнях.

Никогда еще ни один сигнал о прорыве границы не вызывал в нем такого сложного чувства. Все смешалось в его душе: и вспыхнувшая теперь уже совершенно реальная тревога, и стремление сделать все возможное, чтобы поймать врага. Было и досадно и больно, что спор с заместителем решен самой жизнью не в его пользу. Корольков, вероятно, улыбнется, подумав, что начальник сейчас совсем не там, где нужно...

До телефонного столба оставались считанные метры. Сейчас он включится в линию, вызовет Королькова... Как заговорить с ним, как скрыть волнение? Впрочем, теперь уже все равно.

Капитан, не колеблясь, соединился с заставой и тут же услышал озабоченный голос Королькова.

— Что там на левом фланге? — требовательно спросил Остапчук. — Почему ракеты?

Затаив дыхание, прижав к уху холодную трубку, Остапчук слушал ответ. Сержант вглядывался в лицо начальника, пытаясь понять, о чем докладывает ему лейтенант.

— Где именно? — после напряженной паузы спросил Остапчук. — Это точно? Людей «в ружье» подняли? Тревожную группу ведите сами.

Он рывком выдернул вилку, быстро намотал шнур на трубку и вернул ее сержанту.

— У сосны... По реке прошел... Преследуют, — прерывисто выговорил Остапчук.

Значит, нарушитель пошел именно там, где и предполагал Корольков. Пограничники уже вступили с ним в борьбу, и, конечно, они его схватят, людей там достаточно. Но только ли в этом дело?

Сделав несколько широких шагов, Остапчук вдруг побежал. Плотный, коренастый, он бежал легко и быстро. Пожалуй, так он пробежал бы все расстояние до той сосны, увиденной в неярком свете ракеты, если бы вдруг не взлетела еще одна ракета, на этот раз зеленая. Она таяла и рассыпала искры, но уже не над сосной, а левее ее и дальше от границы.

— Задержали! — воскликнул сержант, не скрывая от капитана радости.

— Сам вижу! — сказал Остапчук. Он оставался все таким же недовольным и строгим.

А рядом по-прежнему ревели, бросаясь на скалы, море.





Лукьян ГОРЛЕЦКИЙ

Сержант Зозуля

Ничего не скажешь, мы выполнили трудное задание и счастливо избежали опасности, которая неожиданно нагрянула на нас. И хотя моя роль в этом самая незначительная, все же я вместе с моими товарищами радуюсь нашей победе.

Между тем идти очень тяжело: снег по пояс, а тропа узкая-узкая. И вьется она по самому краю обрыва. Внизу бушует Пяндж, пограничная река.

Пробираться по этой опасной тропе было бы гораздо легче, если бы я не вел за собой навьюченную лошадь. Вьюки, как нарочно, задевают за выступы камней, и порой приходится придерживать лошадь, чтобы она не сорвалась в обрыв.

Путь нам пробивает со своим конем Буйном сержант Зозуля. Это радист заставы, по участку которой мы продвигаемся. Он лучше нас знает местность и потому идет впереди. Правда, и мы эти тропы знаем, ходили по ним туда и обратно множество раз. Однако есть и другая причина. Сержант сказал нам, что его лошадь своенравная и привыкла ходить только впереди. Она ни в коем случае не уступит свое место другой лошади...

Сержант Зозуля небольшого роста. А поди ты, какая в нем сила! Нет, я, видимо, завидую ему. Вот и сейчас иду и не свожу с него глаз. Я вижу: он остановился и передал повод младшему сержанту Кравцову, а сам, как снегоочиститель, разгребает снег.

Младший сержант Кравцов и я — линейные надсмотрщики. Оба мы связисты пограничной коммандуры. А радиста прислали на помощь с заставы.

Я вначале даже удивился: зачем радиста? Ведь нам нужны линейщики телефонную линию восстанавливать. Это же самая что ни на есть черновая работа — столбы откапывать. Привычен ли к ней сержант? Но я ошибся. Сержант Зозуля так утер нам, линейщикам, нос, что я простить себе не могу...

Зозулю я знаю, как самого себя, даром, что он из Полтавы, а я из Куйбышева.

Познакомились мы на учебном пункте. Потом вместе попали в школу связистов. Он — на радиоотделение, я — на телеграфное. В одной комсомольской организации работали. Здесь я его и узнал. Зозуля, живой, подвижный, бойкий, учился отлично. На комсомольских собраниях часто вспоминал меня недобрыми словами. Правда, в то вре-

меня на собраниях я не выступал, смелости и умения не хватало, но в жизни никому не прощал даже самой маленькой обиды. Это больше всего удивляло Зозулю.

«Что ты за людына?» — спрашивал он обычно в курилке и так донимал меня этими украинскими словечками и пословицами, что я места себе не находил. Я обещал ему: «Подожди, подучусь и речь такую закачу!» «Э-э, — говорит, — пока трава вырастет, кобыла сдохнет».

Мне не повезло: я заболел, отстал в учебе.

И вот на Памире я снова встретил Зозулю.

Никогда не забуду этого случая. Наступила моя первая памирская зима. По служебным делам я находился в городе Эн. Выпал такой большой снег, что закрылись все горные дороги. Машины не шли, многие сотни километров нам предстояло пройти пешком.

Но делать было нечего. Всем пограничникам, которые в это время находились в городе, было приказано выступить на лыжах.

Набралось нас семь человек. Солдаты были из других подразделений, и я их не знал. Перед отправлением к нам присоединился младший сержант Зозуля. Это меня обрадовало. Мы шли вместе, вспоминали курсантское житье. Смотрел я на его маленькую фигуру и думал: «Не дойти тебе».

— Когда будешь отставать, скажи, помогу, — предупредил я Зозулю.

Он согласился. Я был уверен в своих силах.

Мы шли долго. Я почувствовал, что устаю. С этим не хотелось мириться, не верилось, что я слабее остальных.

Думаю: узнают о моей немощи солдаты и бу-

дут посмеиваться. Эх, скажут, а еще на Памир приехал служить! И мне стало стыдно. Другой бы чистосердечно рассказал товарищам о своей беде, а я не смог. Я пошел на хитрость, объявил привал, а сам тем временем выдвинулся в голову колонны. Думал, что это меня спасет.

Но нет. Вижу: один обогнал меня, другой, третий. Я далеко отстал. Никому и в голову, наверное, не приходило, что я не могу идти.

И вот лежу я в снегу, возвращается сержант Зогуля и еще издали кричит:

— Якого биса ты лежишь?

— Не могу идти.

— Заболев?

— Нет, устал.

Тут младший сержант понял, в чем дело, и рассердился:

— Так бы давно сказал, мы помогли бы, вот людына!

Он склонился надо мною, и я безразличным взглядом смотрел на его строгое лицо, широко открытые карие глаза, в которых были и забота, и участие, и добродушная усмешка. И я почувствовал снова, как раньше в школе, его влияние.

Младший сержант взял у меня винтовку, вещевой мешок, и так мы шли с ним, пока не догнали остальных. Тогда вещевой мешок и винтовку младший сержант передал другим солдатам. Потом он достал из своего мешка веревку, один ее конец сунул мне в руки, а другой привязал к своему ремню и потащил меня на «буксире». Представьте себе такую картину: я — высокий, здоровый, а он — щупленький, низенький — тащит меня. И такой стыд берет, что не передать.

А потом я уже и стоять не мог. Увидел Зозуля, что я присел, остановил солдат и стал советоваться, что со мной делать.

— Под руки его надо вести, — предложил кто-то.

— Еще чего не хватало! — рассердился Зозуля. — Сам пиде.

— Так он не может, — подал голос какой-то солдат.

— Может, — строго сказал Зозуля. — Он убедил себя, что у него нет сил. Испугался человек трудностей, и ему сдается, что он не сможет одолеть их. Ясно?

— Товарищ младший сержант... — начал было я. Зозуля скомандовал:

— Ефрейтор Привалов, **встать!**

Я с трудом поднялся.

— Вы, ефрейтор Привалов, должны знать, что и с собой надо вести борьбу. Да-а! А вы раскисли, опустили руки. Надо перебороть свою немощь, силы у вас есть. И выход из этого затруднения надо искать самому, а не ждать, пока кто-то найдет. Ясно?

— Ясно.

— Шагом марш!

И я, еле передвигая ноги, пошел вперед. Вы представляете: то не мог стоять, а то иду. И так впоследствии разошелся, что сам себе не поверил: откуда только силы взялись...

Я вспомнил сейчас этот случай потому, что сержант Зозуля снова выручил меня и показал, каким надо быть пограничнику.

Обвалы натворили таких дел, что мы с младшим сержантом Кравцовым в ужас пришли. Столбы выворочены и разбросаны. Поперек поваленной теле-

фонной линии лежат высокие насыпи снежных сугробов.

Вот тут-то и надо было, как говорил Зозуля, поискать выход из затруднения, подумать, каким способом лучше и быстрее восстановить линию. А мы стали действовать по старинке: расчищали снег, поднимали столбы, сращивали провода. Прошел день, а мы поставили только несколько столбов. И вот прибывает на второй день Зозуля, теперь уже не младший сержант, а сержант. Обошел он все, осмотрел и говорит:

— Давайте помиркуем, як лучше зробиты.

Сержант ловким прыжком поднялся на высокую насыпь обвала.

— Сколько треба дней, чтоб расчистить оцю громаду?

— Два дня, — отвечает младший сержант Кравцов.

— Правильно. А мы обхитрим природу. Обрежем у этого столба провода и вытянем их из-под обвала. И так из-под всех восьми обвалов.

— Это идея! — воскликнул в восхищении Кравцов. — Недаром говорят: беды мучат, да уму учат.

Мы принялись за дело. Обрезали провода, подняли столб, то есть опору, как ее называют. Потянув провода, немного приподняли следующую опору. Обрадованный Кравцов бросился к ней.

— Обожди, — говорит Зозуля, — не лезь поперед батька в пекло.

Он пошел к следующему обвалу и позвал нас:

— А теперь обрезайте провода вот у этой опоры.

Подняв столб, мы стали натягивать и сращивать

провода. Только теперь дошел до нас замысел сержанта Зозули.

Этим способом мы до обеда восстановили больше половины столбов телефонной линии. Окрыленные успехом, мы работали быстро, горячо.

— Если так дело пойдет, то сегодня закончим, — заключил я.

Сержант улыбнулся и хитро посмотрел на меня своими прищуренными глазами:

— Не говори «гоп», пока не перескочишь!

(Намек на прошлогодний переход по памирскому тракту.)

Солдаты привезли три столба. Это был весь запас. Больше их нигде было взять. А нам нужно пять. Как быть?

— А если расколоть вдоль одну старую опору? — несмело предложил я.

— Правильно, — согласился Зозуля. — Вот видите, и выход нашелся.

Под вечер сидим на камне и толкуем о том о сем. А известно, здесь вторая половина дня — период обвалов. И вот как загремит на сопредельной стороне, мы даже вздрогнули. Нам хорошо видно, как с вершины летит, клубясь, облако снежной пыли, а перед ним, точно убегая, стремительно катится по скале белая полоса снега. Она падает и с силой ударяется о подошву горы. Словно от взрыва, поднимается к нему столб снежной пыли и, разрываясь в клочья, плывет над рекой.

К вечеру мы уже заканчивали работу, возились около большого выступа скалы. Это — самое опасное место. Здесь обвалы частенько нарушают линию связи. Они всегда идут на этот выступ и, раз-

бываясь о него, двумя потоками устремляются к реке, сметая все на своем пути.

Сержант Зозуля долго смотрел на этот выступ, потом вскарабкался на него.

— Да здесь столб можно поставить, расщелина есть! — закричал он сверху. — Тогда никакой обвал не оборвет провода.

Мы обрадовались его предложению. Ведь больше всего достается от этих обвалов нам, линейщикам. Оборвался провод — и тащись в ночь и в холод, ищи порыв. А ведь много лет стоит эта линия, сотни раз обвалы рвали провода, и никто не додумался до такой простой вещи!

И вот столб стоит на выступе скалы, провода немножко провисли, но ничего, обвал их не достанет.

Работа закончена. Темнеет. Мы выучим инструменты, сержант Зозуля забирается на столб, возвышающийся на выступе скалы, и подтягивает провод. Вот он покончил со всем и по выступу стал спускаться. И тут загудел обвал. Услышав шум, мы с младшим сержантом отскочили в сторону. В опасном положении оказался сержант Зозуля: он спустился лишь до половины скалы. Соскочить вниз он уже не успеет, его накроет снежная лавина.

— Уходи-и! — кричит ему что есть силы младший сержант Кравцов.

Но Зозуля, запрокинув голову, смотрит на скалу и не двигается с места.

— Ну чего он стоит! С ума сошел! — Я вижу, как вздрагивают губы младшего сержанта.

А леденящий душу гул все сильнее звенит в ушах. Кажется, доведись мне, я, ни о чем не думая,

уже давно соскочил бы вниз. Но сержант почему-то не делает этого...

Наконец он хватается руками за камень, подтягивается. Прыжок — и он уже на вершине выступа. Зозуля тут же плашмя падает на камень, ползет и хватается за столб. И только он дотянулся до столба, как со страшной силой о выступ ударил обвал. Мощная волна могла сбросить сержанта с выступа, если бы в это мгновение он расслабил руки.

Огромное облако снежной пыли рассеялось. Мы быстро взобрались на насыпь обвала и увидели: стоит на выступе наш сержант и стряхивает снег. Заметил нас, весело крикнул:

— Ну, як там, все живы?

— А вы?

— Да меня чуть не смахнуло с этой лысины! Мы подбегаем к нему и горячо жмем руку.

— Завидная у вас смелость и выдержка, товарищ сержант! — с восхищением говорит Кравцов.

Мы выводим из укрытия своих навьюченных коней и трогаемся в путь. Делать здесь больше нечего, задание выполнено.





Георгий ДМИТРИЕВ

Хочу ловить Янги

С позавчерашнего вечера, когда начальник заставы назвал на боевом расчете недоброе имя Янги, Хурмат принимался думать о нем по многу раз в день. «Сейчас мы все должны охранять границу особенно бдительно, — сказал начальник. — Нам известно, что опять идет Янги. Он несет терьяк* и другую контрабанду. Он ловкий и хитрый и знает эти места не хуже нас».

Хурмат думал: тот ли это Янги, которого он видел в своем кишлаке, когда учился в школе? Он думал об этом и в наряде, и когда чистил вольер своей овчарки Альфы, и когда помогал старшине

* Терьяк — опиум.

разгружать машину с капустой, и нынче утром на занятиях. Хурмат хотел спросить об этом у начальника, но, как всегда, его сдерживало чувство стесненности: говорил он по-русски трудно, медленно, и тому, с кем говорил, приходилось ждать каждое слово. Правда, начальник никогда не торопил его и сам говорил с ним не спеша. После занятий он обычно оставался с Хурматом и совсем медленно, чтобы солдат успел записать конспект, диктовал ему самое главное.

Так было и на этот раз. Кончив беседу, начальник показал Хурмату глазами, чтобы он остался, и, трогая свой длинный нос, — такая уж у него была привычка: и в раздумье и в волнение трогать нос, — стал диктовать:

— Отстаивая идею... мирного сосуществования... Записал? ... государств с различным строем...

В комнате становилось душно, потому что солнце уже заглянуло и на эту сторону дома. Песчаная степь за окном начинала вздыхать тяжело и знойно.

— Зорко следить за всеми, кто пытается нарушить мир... и, понимаешь, схватить их вовремя за руки...

Дописав последнее слово, Хурмат встал:

— Разрешите доложить?

Начальник взглянул на часы, вздохнул неприметно и все-таки сказал, садясь:

— Давай Миракбаев.

— Янги идет сюда? — спросил Хурмат.

Начальник кивнул, показал глазами, чтобы солдат сел.

— Он совсем плохой человек, — сказал Хурмат. Начальник опять согласно кивнул.

— Я его смотрел. Совсем живой смотрел. —

Хурмат чувствовал, что вспотел, — так старался говорить правильно и быстро.

— Как! — Начальник даже привстал, крепко держив свой нос. — Где?

— Нет! — крикнул Хурмат. — Три года прошла..

— Ага, — сказал начальник, сразу успокоившись. — Три года? — Он сморщил лоб, что-то прикидывая. Миракбаев — казах, но родился, жил и учился в Кара-Калпакии, в одном из кишлаков на берегу Аму. Вполне мог там быть в это время Янги, шнырявший, когда удавалось ему прорваться, по всей Аму — от Термеза до Муйнака. — Думаешь, тот самый?

— Имя другой такой нету, — сказал Хурмат.

— Верно, имя отметное... Рассказывай, — начальник сел поудобнее, собираясь слушать. — Все рассказывай, про такого побольше знать надо.

Хурмат встал — так легче говорить — и начал рассказывать.

В то жаркое лето Аму-Дарья совсем взбесилась. Она металась, словно рыжий жеребец, укушенный слепнем. Она отваливала куски берега, как щедрый хозяин отваливает гостям куски мяса, самые жирные: сад, пашню, ею же вспоенные. После одной такой страшной ночи она ворвалась под утро в кишлак, отрезав от него, как ножом, семь дворов. В клокочущей пене распадались на куски глинобитные хижинки и дувалы, крутились голые корни вывернутых урючин. Ревели ишаки и верблюды. А потом рассветную мглу прорезал неистовый крик женщины: захлестываемая волнами маленькая лодка-каик уносила от берега мальчишку, ее сына...

Хурмат рассказывал, мучительно подбирая сло-

ва. Начальник терпеливо и методически повторял каждую фразу.

— Тут были три большие люди. Здоровые люди, — говорил Хурмат.

— Трое взрослых, сильных мужчин, — поправлял начальник.

— Трое взрослых, сильных мужчин, — повторял, как эхо, Хурмат и продолжал рассказ.

Это были рыбаки, отец и дядя Хурмата. Третьего, с густыми нависшими бровями, он не знал. Оба рыбака бросились в мутный, сразу подхвативший их водоворот, и скоро ни их, ни каика не стало видно. Но вот из мглы показался смоляной нос каика с ревущим в голос мальчишкой; рыбаки, надрываясь, с трудом пристали к осыпающемуся берегу, где металась женщина и недвижно стоял бровастый, в рваной стеганке незнакомец.

Отец, мокрый с головы до ног, вздрагивая плечами, подошел к нему:

— А ты трус, Янги.

Из-под нависших бровей сверкнул на него недобрый взгляд. В ту самую минуту вода вынесла обломок доски с дрожащим на ней, повизгивающим куцым щенком. Доску тоже тащило в стремнину. Ни минуты не думая, тот, кого отец называл трусом, кинулся в воду. В несколько сильных взмахов он настиг щенка, схватил за загривок и, тяжело борясь с течением, выволок его на берег, хотя и гораздо ниже того места, где стоял отец. Мокрый Янги шел сюда, плечи его не дрожали. Благодарный щенок плелся за ним. Поравнявшись с отцом, Янги грубо отбросил завизжавшего щенка ногой.

— Да, — сказал отец, — ты не трус, но ты пло-

хой человек. Шел бы ты лучше от нас со своим нечестным товаром.

И, схватив за руку сына, пошел домой.

Так рассказывал Хурмат. Начальник вытирал пот со лба. В комнате стало совсем жарко, небо в окнах выцвело и колыхалось от горячего дыхания степи, как полотнище на ветру.

— Я думал целый день, потом говорил отцу: «Плохого надо ловить, судить». Отец говорил мне: «Янги бежит, как кулан, плывет, как рыба, убивает без промашки, как барс».

— Без промаха.

— Убивает без промаха. — Хурмат умолк.

— Дальше, — сказал начальник.

— Дальше нету, — растерянно улыбнулся Хурмат.

Было бы совсем трудно рассказать про то, как ему тогда стало стыдно, и горько, и жалко отца, который боится Янги. Он добавил только:

— Я не хотел бояться Янги. — И снова умолк.

Но начальник понял и так. Он смотрел на Хурмата, пряча улыбку: так вот оно откуда все идет! Вот почему рядовой первого года службы Хурмат Миракбаев так старателен на занятиях, особенно по огневой подготовке, на тренировках по бегу.

— Ладно, — сказал начальник. — Так что ты хочешь?

— Я хочу ловить Янги.

— Идет! — сказал начальник. — Это я тебе обещаю.

...Было уже совсем темно, когда Хурмат возвратился из наряда на заставу. Поужинав, он лег на койку.

По тревоге он был готов одним из первых, и ему стало горько, когда начальник, объясняя обстановку, сообщил, что по следу уже идет со своей Ракетой командир отделения сержант Лодыга, а он, Хурмат, остается при начальнике в резерве. Лодыга хороший командир и настоящий товарищ, терпеливо учивший их с Альфой понимать друг друга, но все-таки лучше бы Лодыге быть в резерве, а ему идти по следу. Должно быть, Хурмат глядел на начальника очень обиженно, и тот, поймав взгляд солдата, сказал ему:

— Помню... Жди...

И, потрогав нос, приказал Хурмату и рядовому Киселькову садиться с Альфой в «газик». Затем сел сам, и они поехали на фланг, на шестой километр. Там они постояли, пока начальник, опустившись на корточки у розетки, вызывал то «Чайку», то «Гагару», то опять «Чайку». Пустыня остывала в величественном молчании под червленными звездами небом. Альфа дремала, вздрагивая свесившейся с сиденья тяжелой лапой. Хурмат боролся с нетерпеливым желанием вскочить и бежать вперед.

Наконец начальник оторвался от трубки и сказал водителю Сашке:

— Теперь давай к Камням, сколько пробьемся.

Взвывал, барахлил, чихал мотор, «газик» кренило и бросало по барханам, по камням. Альфа недовольно дрыгала ушами, твердо упиралась лапами в живот, в колени Хурмата, и казалось, что этому не будет конца. Потом «газик» стал, вычихнув напоследок все, что мог. Потом еще немного шли, пока не наткнулись на Лодыгу. От него несло жаром и потом; мокрый завиток волос свисал со лба.

С высунутого языка Ракеты падали в черный песок капли.

— Все! — сказал Лодыга звонким от досады и злости голосом. — Потеряли к черту! — И спохватился — не доложил.

— Ладно, Лодыга, — сказал начальник. — Ты пробежал немало.

Потом повернулся к Хурмату:

— Ищи, друг. И жми. Следом будет наряд.

Лодыга вынул флягу с водой, открыл, запрокинулся жадно и вдруг отнял от губ, не глотнув, протянул Хурмату:

— Держи. Одной фляги Альфе ненадолго хватит.

— Пей, сержант, — сказал начальник. — Я для них запасную взял...

Свежая Альфа бойко ходила кругами и вдруг твердо, напористо потянула к северу.

У Хурмата захватило дух; он совсем забыл, он и не видел, как сгнули во мраке за его спиной начальник, Лодыга, Сашка. И не сразу заметил, что рядом дышит Кисельков.

Бежали уже два часа.

Кисельков, не умевший бегать и дышать так, как тренированный Хурмат, временами отставал, но нагонял снова, когда у Альфы выходила заминка. Пока темно, только на нее и можно положиться.

А когда рассвело и кое-где на песке проступили следы, Хурмат понял, что там, впереди, идет не один. Идут двое, ступая след в след.

Солнце только взошло; тень Альфы, то змеящаяся по песку, то ломающаяся по камням, была еще совсем длинной, а становилось уже жарко. Собака все чаще просила пить. Одну флягу Хурмат уже

бросил; пустой звук металла по песку тревожно резанул его ухо. Хотелось пить и самому, но он берег запасную флягу для Альфы. Кисельков отстал, его не было видно. Да и Хурмату уже не хватало дыхания.

— Давай, Альфа! Ты совсем хорошая, Альфа... — шептал Хурмат, словно в бреду.

Песок все быстрее бежал назад под их ногами. Нестерпимо блестящая водяная гладь миража вставала впереди, приближаясь.

И вдруг Хурмат стал: мираж не уходил. Он лежал у самых ног полосой сухой соли, за который распростерся зеркальный — настоящий! — лиман. Прошуршав лапами по соли, Альфа жадно лизнула рассол и даже взвизгнула от злости и разочарования. Хурмат вспомнил, что видел на карте глубоко в тылу пунктиры сухих, иногда наполняющихся водой лиманов.

Этот лиман тянулся метров на четыреста влево и настолько же вправо. Обходить — потерять все, что выиграли. Они с Альфой выигрывают два раза по столько, потому что те обходили лиман.

Хурмат сбросил сапоги — Кисельков подберет, — вошел в удушливо теплую воду. Шагов через десять поплыл, работая одной рукой, другой высоко вскинул автомат. Тяжелая, плотная вода выталкивала вверх, а передвигаться в ней было трудно. Вот и пригодилась его ежедневная тренировка в маленьком, вырытом солдатами заставы бассейне, хоть и посмеивались над ним и даже в «стенной» нарисовали — живот в воде, руки на стенках: «Хурмат тренируется...» Рядом плыла Альфа, брезгливо вскинув морду, распластав по воде хвост.

Их было трое... Теперь Хурмат отлично видел их. Они мягко и словно бы неторопливо шли по песку, шагая след в след. Тюбетейка и две кепки. Однако разглядеть, который из них Янги, Хурмат не мог. Временами то справа, то слева их скрывали барханы; и каждый раз, выходя, они оказывались ближе. Теперь Альфа рвалась как бешеная; поводок больно врезался в ладонь Хурмата. Но сам он не спешил, маневрируя, обдумывая, как подойти. Как подойти, чтобы все трое разом оказались перед глазами? «Действовать по обстоятельствам», — вспомнил он, чувствуя, как входят в него легкость и радость. То были легкость и радость охотника, чей прадед, и дед, и отец, и сам он бродили в тугайных зарослях Аму-Дарьи, полных фазанов и караваек, кабанов и гиен, свирепых камышовых котов, а то и барсов. Он и сам не знал, что подсказало ему выбрать именно этот бархан, обогнуть его именно слева, а не справа и так рассчитать мгновения, чтобы выйти в бок их строю, вонзившись в него криком, и дулом, и свирепо ощеренной пастью задохнувшейся от ярости Альфы на струнно-дрожащем поводке.

— Не надо собака!.. Держи собака!.. — Они кричали истошно, высоко взбросив руки, и синева страха разливалась по их смуглым щекам.

Ни один из них не был Янги.

Хурмат выстрелил в воздух.

Потом все трое сидели, как приказал им Хурмат, лицом к нему, скрестив ноги, уперев локтями в колени поднятые руки, словно совершали намаз. Каждый взмах их ресниц по-прежнему стерегли беспощадный взор Хурмата, автоматное дуло и неизрасходованная злость Альфы.

Текли минуты, текло по небу все более яростное солнце, тяжело текла, не принося покоя, мертвая тишина. Гимнастерка и штаны Хурмата дымились паром, соль жалила тело, босые ступни жег песок. Как яд, просачивалась в ноги, в голову, в сердце усталость. Но еще горше было, что ни один из них не Янги...

Каждый из троих был вдвое старше Хурмата. У двоих — раскосые глаза; у третьего — глубокие, угольные, вскинутые вверх. Один из косых долго кряхтел, покачивался, потом сказал по-русски:

— Отпусти нас, пограничник.

Хурмат молчал: не положено разговаривать с задержанными.

Тогда косой сказал то же самое по-узбекски, потом еще по-каковски-то. Мешая слова трех языков, он бормотал что-то о больших деньгах хорошему солдату, о том, что они пришли не с бедой, а от беды и что они люди мирные.

Хурмат молчал, наведя на него ствол. Нестерпимо чесались подмышки, живот, спина. Косой замолчал. И опять потекла тишина.

— Янги тебя убьет, — вдруг сказал черноокий, ласково глядя на солдата.

И Хурмат понял, что эти люди — люди Янги. Косому он отвечать не хотел; черноокому очень хотелось ответить. Он взглянул на часы, которые шли, несмотря на купание в рассоле: уже двадцать семь минут он ждет Киселькова. Он подумал, что надо еще раз стрелять своим, и тут увидел ястреба, который парил в бледной от зноя выси на распластанных крыльях, высматривая тушканчика. Хурмат выстрелил. У ястреба подломились крылья, и он

начал падать все быстрее. И черноокий следил глазами, как несется к земле его маленькое тело.

— Тогда убей Янги, — мягко и тихо сказал он и оглянулся.

И Хурмат понял, что все трое боятся Янги.

Потом, еще минут через десять, из-за бархана вышел Кисельков. Глаза его в черных кругах, ввалились. Пошатываясь, он навел автомат и стал рядом с Хурматом.

— Дай Альфе воды, — сказал Хурмат, с жалостью глядя уголком глаза на спекшийся язык собаки.

И пока Кисельков поил ее, Хурмат думал, можно ли на него положиться: чтобы стянуть с себя хрустящую от соли гимнастерку.

Но тут из-за того же бархана вышли начальник с водителем Сашкой: еще пистолет и автомат. Теперь можно опустить свой автомат, дать отдых изнывающим рукам. Он вытянулся, собираясь доложить: ему было очень стыдно, что он без сапог, которые болтались теперь у Сашки на поясе.

— Ладно, — сказал начальник, положив руку на его плечо. — Скидай робу. Отрядная машина за лиманом, по дороге скажешь. И на заставу — есть, спать.

— Совсем мало спать, — сказал Хурмат и с надеждой посмотрел на начальника. — Янги пойдет сегодня ночью. Я хочу ловить Янги.





Михаил АБРАМОВ

Закон границы

Это произошло в тот трудный на границе час, когда ночь еще не кончилась, а утро не наступило.

Притаившись в гряде обомшелых камней, Егор Булавин смотрел на тропинки, пересекающие вершину полевого холма. Недалеко от Егора, в канавке, скрытой горькой полынью и колючим татарником, лежал старший наряда ефрейтор Павел Косяк и тоже неотрывно глядел, только не на тропинку, а на опушку темнеющего вдали леса.

Булавин и Косяк пришли сюда в полночь и, не обменявшись ни словом, залегли каждый на своем месте. Егора, еще не втянувшегося в пограничную службу солдата, одолевал сон, намокший плащ стягивал мышцы и казался таким тяжелым, словно

был отлит из свинца. Солдат пытался шевелить не-
меющими руками и ногами, но они плохо подчиня-
лись его воле.

Если бы раньше, когда Егор работал лесорубом
на севере, кто-нибудь сказал, что можно устать
просто оттого, что лежишь на земле, он искренне
расхохотался бы. А теперь в этих угловатых кам-
нях ему было не до смеха. Егор даже подумывал,
что без помощи Косяка ему уже не подняться... Эх,
с какой бы радостью он снова взял моторную пилу
и начал валить смолистые сосны! Уж она-то размя-
ла, разогрела бы руки, вернула бы им силу и
удаль!

Томительно тянулось время. Павел Косяк по-
прежнему чего-то ждал. Притих, будто его и не
было позади, в сырой канаве. Булавин взглянул на
автомат и стиснул приклад красной от холода ру-
кой. И опять стал смотреть на перекресток тропи-
нок.

Вдруг солдат чуть не вскрикнул от поразившей
его неожиданности. В какой-нибудь сотне метров
по бурой картофельной ботве шагали две пары
ног — друг за другом, след в след. Шаги широ-
кие, торопливые. Огромные сапожищи то поднимали-
сь над ботвой, то приминали ее. Потом ноги ис-
чезли, появились две головы в одинаковых черных
кепках. Булавин подал сигнал старшему наряда: по-
стучал ногтем по прикладу автомата — раз... два...
три! Раз... два... три!

Косяк подполз в тот же миг, словно он только
этого и ждал.

— В чем дело? — шепотом спросил он.

— Видишь головы? — возбужденно показал Бу-
лавин на картофельное поле.

— Вижу ноги, — прижимаясь плечом к Егору, ответил Косяк.

— Ну да, то головы, то ноги...

— Туманом скрывает. Вон какое молоко разлилось. Это хорошо, — задумчиво проговорил Косяк. — Для нас будет хорошо...

— Какие огромные... Головы-то будто в облаках плывут.

— Не робей! — Косяк положил руку на спину солдата. — Главное — не робей!

— Бить сразу? — спросил Егор деловито, чувствуя, как свинцовая тяжесть, еще недавно безжалостно давившая его, исчезла, освободила затекшие мышцы.

Косяк строго взглянул на солдата.

— Возьмем живыми, — убежденно сказал он. — Возьмем, если даже начнут отстреливаться. Ясно? Бей выше головы, прижимай огнем к земле... Если пропустим их к стогам сена, окопаются и дадут прикурить. Понял? Ну, Егор, беги...

Булавин вскочил и, держа автомат на изготовку, низко пригибаясь, побежал по полю. Одеревенелые ноги вначале плохо повиновались, подошвы сапог скользили по раздавленной ботве. С трудом давался каждый шаг, сердце часто стучало, щеки полыхали жаром. Егору казалось, что бежит он слишком медленно, не так, как требуется, что он отстанет от Косяка, не сможет помочь ему в решающую минуту...

Слева хлестнула автоматная очередь. Влажный воздух подхватил звуки выстрелов и гулко, с пронзительным свистом понес их над сумрачными полями. Пули пропели в тумане совсем рядом. Зазвенело в ушах. Егор вздрогнул, метнулся в сторону. Он

заметил, как бежавший впереди Косяк упал на землю, потерялся из виду. Булавин остановился, соображая, что же делать? Затем, припав на колени, прижал приклад автомата к плечу, готовясь ко всему, что может произойти в этом проклятом тумане. На верхушке холма мелькнули два темных пятна, и он резанул повыше их длинной очередью. Темные пятна исчезли, но Егор не знал, убил он нарушителей или они залегли, притаились.

Тревожная тишина продолжалась несколько минут. Затем снова застрочил автомат, и почти одновременно с ним раздался голос. Он приказал Егору подползать ближе. Сбросив тяжелый, задубелый плащ, Булавин упал в борозду и, упираясь локтями, пополз на голос товарища.

Туман редел и сползал в низину. Постепенно вершина холма обнажилась. Это обрадовало Косяка, он сильно и зло крикнул:

— Сдавайтесь, если хотите жить!

В ответ нарушители швырнули гранату. Осколки ее не задели пограничников.

Обтерев с разгоряченного лица комки грязи, Булавин гневно сказал:

— Тоже могу угостить...

— Успокойся! — приказал Косяк. — Гляди в оба. Поднимут руку — бей по руке, но голову целой оставь...

Спокойствие Косяка передалось Егору. Он и не подозревал, что этот высокий черноглазый плясун и гармонист может иметь такое самообладание. Отдышавшись, Егор спросил:

— Что будем делать?

— Ничего! — сухо ответил Косяк. — Лежи и жди... Момент настанет, тогда прикажу...

Поднявшийся ветерок унес остатки тумана с вершины холма на предпольную луговину, где седые клочья долго еще качались и клубились на ольховых зарослях. Пограничники и нарушители лежали, прижавшись к земле, не спуская друг с друга настороженных глаз. Ждали — кто первым не выдержит, ошибется, сделает неверный шаг...

Над полем стояла тягостная тишина. Егор чувствовал, как по его вспотевшей спине бегут мурашки. Это было хуже, чем во время перестрелки.

Павел бросил в Егора комок земли и озабоченно зашептал:

— Смотри, еще один. Вот, дьявол, уйдет в лес! Держи, Булавин, этих, — сказал Косяк. — Не давай им подняться, а я...

— Разреши, я догоню. Я легче, — порывисто проговорил Егор. — Не бойся, справлюсь!

Булавин скатился с холма. Косяк видел, как он сбросил на ходу ватную куртку, тяжелые, с налипшей грязью сапоги и, часто работая локтями, кинулся к лесу.

Те двое, что лежали в картофельных бороздах, не увидели пограничника, не сделали по нему ни одного выстрела. Косяк для острастки резанул над их головами длинной очередью, да так низко, что пули сорвали верхушки ботвы. И опять стало тихо...

Егор не заметил, как перемахнул поле и луговину. Ноги его уже заплетались в высокой мочалистой траве, по лицу хлестали голые ветки ивняка и лещины, а он бежал и бежал...

Дальше от опушки лес стал глухим и мрачным. Деревья плотно сдвинулись друг к другу, заслонив серое предраассветное небо. Откидывая в стороны сучья ельника, солдат неустрашимо бежал в

глубь леса. Несколько раз он видел в просветах деревьев широкую, в черной куртке спину и вскидывал автомат.

Не приходилось еще Егору преследовать врага, не знал он, как трудно это и опасно. Только безотказность и меткость автомата, в который он верил, давали ему силу и храбрость. Он шел, не останавливаясь, смотрел вперед до боли в глазах, но широкая спина в черной куртке куда-то исчезла, будто провалилась в землю.

Продравшись через заросли можжевельника, Булавин поднялся на цыпочки, выискивая пропавшего в лесу человека, но ничего не видел. В его возбужденных, с расширившимися зрачками глазах только рябили необыкновенно яркие полосы и пятна. Первые заморозки осенних ночей щедро выкрасили осоку, телорез и багульник в желтые, бурые, коричневые цвета, беспорядочно смешали их в огромный пестрый ковер.

Егор понял, что выбежал он на кромку Бранихинского болота, сплошь искромсанного бездонными бочагами и гибельными трясинами. Горечь обиды обожгла грудь. Сознавая, что дальше не пройти, Булавин растерянно повернул влево, едва вытаскивая босые ноги из холодной, засасывающей жижи. Ступая с кочки на кочку, хватаясь за хрупкие, ломающиеся в руке стебли папоротника, он добрался до деревьев, стоящих на мшистом холме.

Егор наклонился, чтобы отжать воду с намокших штанин, и вдруг вздрогнул от ошеломившего его голоса:

— На колени, щенок!

Булавин оторопело вскинул голову. Недалеко от него, за толстым стволом осины, стоял мужчина в

черной куртке с наведенным для выстрела пистолетом. Егор рванул спусковой крючок, но автомат молчал. Мужчина осторожно вышел из-за дерева и остановился в трех шагах от Булавина.

— Что, не стреляет? — злорадно сказал он.

Егор окинул врага с головы до ног. На его костистом лице вздулись желваки, серые с красноватыми прожилками глаза смотрели ожесточенно.

«Убьет! Первой же пулей убьет!» — подумал Егор и с какой-то отчаянной обреченностью понял, что нельзя двинуться с места, шевельнуть рукой... Чуть что — и грохнет выстрел. Такой не промахнется. Да и невозможно промахнуться — всего три шага...

— На колени! Молись богу! — зло повторил мужчина.

В его руке, вытянутой вперед, с вздувшимися венами на запястье, не дрогнул, не качнулся пистолет.

«...Целится в голову. В сердце было бы хуже. Значительно хуже...», — мысль работала быстро и отчетливо. Егор чувствовал, что его босые ноги давят корневища папоротника, не дрожат, не подкашиваются, в глазах не рябит, как это было на кромке болота...

Не спуская глаз с пистолета, Булавин видел только белеющий от натуги палец, который жал спусковой крючок, оттягивая его к заднему полукругу скобы...

— На колени! Слышишь! — повелительно и нетерпеливо еще раз приказал мужчина.

Его левый глаз сощурился, а правый округлился, зрачок стал больше и острее.

«Хочет сломить. Поиздеваться...» На какой-то миг взгляд Егора уловил крупные, в два ряда пуговицы

на его черной куртке, медную пряжку широкого желтого ремня.

Булавин, не сознавая сам этого, немного присел, съежился, чуть наклонился вперед. Перехватив руками автомат ближе к стволу, он вскинул его на грудь, точно хотел защититься от неизбежной смерти. Человек в черной куртке заметил все это, понял по-своему: «Трусит, щенок! Сейчас встанет...»

«Стукну головой чуть ниже ремня и со всей силы ударю прикладом», — этой мысли подчинились все нервы, все мускулы Егора.

Палец на спусковом крючке побелел еще больше. «Надо... Пора...»

Оттолкнувшись от крепких, утопанных ногами корневищ папоротника, Егор взмахнул автоматом, с отчаянной решимостью кинулся на врага. Над головой хлопнул выстрел, сухо треснул деревянный приклад, и зазвенел металл. Ударившись плечом о ствол осины, Егор воспринял все это, как смутный сон. В его глазах качнулись, закружились деревья, их вершины полетели куда-то вниз и в стороны. Он почувствовал, как правую руку охватила острая боль. Не мог согнуть локтя, сжать пальцы...

Прибравшие в лесную чащобу солдаты долго не могли найти Булавина.

Высокий, подвижный и остроглазый Павел Косяк первым увидел своего друга. Егор неподвижно сидел на пеньке и курил сигарку. На его коленях лежал чужой — крупнокалиберный, с удлиненным стволом — пистолет. На земле, у ног Егора, валялась фуражка, а недалеко от нее — автомат с расколотым прикладом. Заметив на бледном, поразительно спокойном лице Егора алую струйку, Косяк осто-

рожно взял его стриженую голову в большие горячие ладони и наклонился над ней.

— Только кожу содрало! — с чувством облегчения проговорил Павел. Сердито сверкнув черными глазами, спросил:

— Что, и этого хотел живым взять, кипятком недоваренный...

Егор вздрогнул, словно очнувшись, и, пряча окровавленное лицо, виновато сказал:

— Не заметил, как все пули выпустил. Поторопился малость...

Егор стал подниматься с пенька. Косяк взял его под локоть, чтобы помочь.

— Сам могу! — отмахнулся солдат. — Отсиделся. Очулся.

Булавин подошел к человеку, лежавшему в зарослях папоротника. Он лежал ничком. Егор долго смотрел на правую руку врага, сжатую в кулак.

Надо же, на какого черта ты напоролся! — Косяк дружески положил ладонь на плечо Егора. — Но похоже, что и не шевельнулся. Пластом лег.

— Рука у меня, сам знаешь, лесорубская. Так и тянется, шут ее побери, к дереву, — усмехнулся Булавин. — Видишь, прикладом об осину стукнул. Разлетелся вдребезги. Старшина устроит, наверное, протирочку за халатное обращение с оружием.

— Приклад сделаем! — Косяк весело толкнул солдата в спину. — Сам-то ты, Егорка, здоров и целехонек. Ох, и долго же будешь жить теперь с пограничной отметинкой!

— А как ты с теми двумя? — стирая с лица кровь, спросил Булавин. — Долго отбивались?

— Одолеl. На заставу увели живыми.

...На стене над койкой Егора Булавина, как память о боевом крещении, висит простреленная фуражка. Пуля пробила фуражку рядом с красной звездочкой и вырвала большой клоч с тыльной стороны околыша.

Стесняется ефрейтор Булавин показывать свою «отметинку». Но бывает, что по неосторожности или по забывчивости наклонит голову, тогда в его рыжеватых волосах пограничники видят белую полосу, которая, как пробор, прошла вдоль темени. Волосы тут больше не растут — пуля выдрала, сожгла корни.

А когда беседует Егор с молодыми солдатами о боевых традициях заставы, о ее героях, он всматривается в розовощекие лица солдат и думает, как будут они вести себя, если доведется им встретиться с опасным врагом. Вспоминается Егору в такие минуты осеннее туманное утро и все, что было в лесу. И он говорит товарищам:

— Если, ребята, в переплет попадете, то не робейте. Врага мы должны захватить или уничтожить в любых условиях. Отступать нам от этого не положено... Таков закон границы!





Александр АВДЕЕНКО

Балтийский лед

В середине короткого зимнего дня пограничники Бурмистров, Кругляк и Мокроступ погрузили на сани походную рацию, боеприпасы, продукты, охапку березовых дров, лыжи, палатку и отправились нести службу в ледяных торосах Финского залива. Когда покидали землю, погода была сносная. Отъехав от берега десяток километров, пограничники неожиданно встретились с резким ветром, несущим с моря крупные хлопья тяжелого, мокрого снега. Скрылся берег с его черными лесами. Одна за другой пропадали в белой густой мгле придорожные вешки с привязанными к ним еловыми лапами. Не-

смотря на это, Жук шел уверенно, звонко цокая подковами по ледяной дороге. Черный, без единого светлого пятнышка, конь постепенно обрастал белым мхом.

Правил Иван Мокроступ — сибиряк из украинцев-переселенцев, головастый, широкоспинный, с квадратными плечами. Не отворачивая от встречного холодного ветра свое скуластое лицо, он неторопливо пошевеливал вожжами. Ему были в привычку и этот пронизывающий до костей ветер, и эти густые снежные хлопья, слепящие глаза, и этот мрак посреди дня. Сибиряк молчал, но выражение его лица так ясно говорило, что он готов, сколько потребует, переносить эту злую непогоду.

За спиной Мокроступа, в задке просторных розвальнойей, на душистом ворохе лугового сена удобно устроился Игорь Кругляк, черноволосый, смуглый южанин, молодой пограничник. Кругляк впервые принимал участие в таком походе и потому чувствовал себя необыкновенно возбужденным. Ледяной простор залива, ветер, предвещавший бурю, снегопад, привычная к суровой зиме умная лошадь, вооруженные люди в полушубках — все это увлекало его, обещало необыкновенные приключения. Может быть, уже сегодня ночью удастся задержать какого-нибудь матерого нарушителя. Эта удача, конечно, выпадет на его долю, на долю Игоря. После бешеной погони за шпионом, владеющим лыжами, как птица крыльями, связав задержанного, усталый, но счастливый, он вернется к товарищам и, небрежно кивнув на своего пленника, скажет: «Быстрехонек оказался этот субчик. Петлял, точно матерый волк, но от меня все же не ушел, как видите». Товарищи будут пожимать руки, поздравлять с

удачей, а начальник заставы объявит ему благодарность перед строем за отличное несение пограничной службы. Так думал Игорь Кругляк.

Третий пограничник, старший этой маленькой группы — Матвей Бурмистров, шагал по дороге, положив руку на грядку розвальней и беспокойно оглядываясь по сторонам. Иногда он останавливался и сверял по компасу, правильно ли, в нужном ли направлении движется наряд. Во время этих остановок Мокроступ поправлял на лошади сбрую, вытирал соломенным жгутом ей морду, густо облепленную снегом, осматривал кладь в розвальнях, на месте ли она. Все это он делал молча и, несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть, быстро и ловко.

Игорь Кругляк, глядя вниз, на след полозьев, думал: что там внизу, под молчаливой толщей льда залива? Вода и вода, сотни метров воды, кишасей рыбой, гранитные скалы, бездонные впадины. Немало, должно быть, на дне Балтики, среди скал, обросших ракушками, рыболовных шхун, сторожевых катеров, подводных лодок, эсминцев, минных тральщиков, неразорвавшихся снарядов, авиабомб, сбитых самолетов. Как бы прогремел, прославился он, Игорь Кругляк, если бы придумал такую машину, которая находила бы на дне моря потопленные корабли и поднимала их на поверхность!

С подводного царства мысли Кругляка перенеслись в родной город Таганрог, к отцу и матери. Сидят они сейчас, наверное, в своем теплом, ярко освещенном доме, пьют чай с любимым клубничным вареньем и не представляют, где находится их Игорек, чем занимается. О, как он будет рассказывать им об этом своем необыкновенном путешествии!

вии, когда приедет домой, как они будут восхищаться его выдержкой, храбростью!

Ветер набирал силу. Гуще, непрогляднее, стремительнее были снежные тучи, несущиеся с моря. Жук шел осторожно, мягко ступая по льду.

— Ледолом собирается! — прокричал, преодолевая ветер, Иван Мокроступ.

Это были первые его слова, произнесенные с тех пор, как пограничники покинули берег.

Игорь Кругляк огляделся по сторонам, будто впервые заметил и грозный ветер, и сырые хлопья снега, и преждевременные сумерки. Беспечно улыбаясь, он наклонился к Мокроступу, спросил:

— Ледолом, говоришь?

Мокроступ кивнул, полагая, что все этим объяснил. Нахлобучив на глаза белую заснеженную ушанку, он выжидательно смотрел на своих товарищей, одинаково готовый двигаться дальше, в самое пекло бурана, остановиться на ночевку здесь, посреди ледяной пустыни, или повернуть назад к берегу.

— Пошел, черномазый, чего остановился! — крикнул Кругляк на побелевшего Жука.

Конь даже не пошевелился.

— Сейчас, сейчас, — сказал Мокроступ.

Он с виноватой поспешностью разобрал ременные вожжи не защищенными от мороза руками (кожаные, на меху рукавицы торчали из кармана его полушубка), слегка пошевелил ими и чмокнул. Как ни слаб был этот звук, лошадь услышала его и пошла вперед.

— Постой, Иван! — попросил Бурмистров.

Кругляк выскочил из саней, волоча за собой клоушь сена, схватил Бурмистрова за плечо и засеменял

с ним рядом. Черная спина его полушубка медленно покрывалась снегом.

— Неужели хочешь повернуть назад? — взглянув на Бурмистрова, спросил Игорь. — А как же приказ начальника?

Сутулясь и втянув голову в плечи, на которых лежало столько снега, что даже погон не было видно, Бурмистров с досадой ответил:

— Да ты слышал: ледолом!

— Ну, и что же? Испугался? — в голосе Кругляка прозвучала нескрываемая насмешка.

Он вскочил в задок и, удобно устроившись за спиной Мокроступа, беспечно засвистел.

Мокроступ обернулся, не останавливая лошадь, вопросительно посмотрел на Бурмистрова.

Тот шагал молча, сосредоточенно глядя себе под ноги. Снег вихрился все неистовее, хлестал и лошадь, и сани, и солдат. Но лед был почти бесснежным — ураганный ветер вылизывал его начисто, гнал снег верхом, над заливом.

С запада, с той стороны, где протянулась граница льдов Финского залива и незамерзающего Балтийского моря, уже доносились грохот и треск, словно рушились и падали гранитные скалы. Там ломался лед под напором разъяренных волн, движущихся на мелководье, к земле.

Игорь Кругляк больше уже не насвистывал и беспечно не улыбался. Подняв воротник, он угрюмо молчал. В пальцах ног, хотя он был в новых валенках, неприятно покалывало, ветер забирался сквозь какую-то щель полушубка и знобил спину.

Откровенное раскаяние терзало сердце Кругляка: «Это я, дурак этакий, помешал старшему повернуть назад, к берегу».

Игорь в свои двадцать лет прочитал много книг, в которых описывались снежные бури, белое безмолвие ледяных пустынь Северного полюса, Аляски и Сибири, но никогда он не представлял так, как сейчас, страшной силы холодного ветра, метели, мороза.

Он поплотнее обернул ноги сеном, прижался к спине Мокроступа и заставил себя больше не думать о том, что его окружало. Он вспоминал картины юношеской жизни — теплое, в сиянии солнца Азовское море, поездки в кубанские плавни. Охваченный этими воспоминаниями, он согрелся и задремал. Проснувшись, он испуганно встряхнул головой, приподнялся. Ему стало страшно. Как он мог позволить себе заснуть! Именно вот так, засыпая, уходили из жизни все замерзшие люди. Игорь пошевелил одной ногой, другой, — нет, обе действуют нормально. Пощупал пальцы рук — все в порядке, и, обрадовавшись, стал насвистывать с прежней бодростью. Но скоро опять замолчал, смущенный серьезной сосредоточенностью товарищей. Они не обращали на него внимания ни тогда, когда он угрюмо безмолствовал, ни теперь, когда он снова оживился.

Игорь был не из тех людей, кто умел быть мужественным скромно, самостоятельно, без ободряющей похвалы. Он загорался отвагой лишь в том случае, если кто-то смотрел на него с восхищением и верой в его силы и способности, если кто-то ждал от него только успеха. Если же этого не было, если на Игоря смотрели просто, как на обыкновенного рядового человека, не будоражили его самолюбие и тщеславие, если он должен был де-

лать то, что и другие, в этом случае у него вообще не было желания что-либо делать...

Вьюга плотно, со всех сторон, обступила сани, круп лошади едва виднелся. Покорный, выносливый, Жук шел все с большей и большей осторожностью, и Мокроступ не понукал его. Он дал вороному полную волю.

— Товарищ Мокроступ, — вдруг решительно приказал Бурмистров, — поворачивай!

Игорь втайне обрадовался команде старшего, но, боясь, что пограничники догадываются о его желании сейчас же вернуться на заставу, наперекор своему чувству насмешливо воскликнул:

— Вот так папанинцы!

— Поворачивай! — строго повторил старший наряда.

Мокроступ остановил коня. Бурмистров ощупью, перебирая руками по грядке саней и по оглобле, вышел к голове лошади и увидел в нескольких метрах прямо перед собой большую полыню. Схватившись за уздечку, он начал осаживать коня назад. Круто развернув заскрежетавшие стальными подрезами сани, Мокроступ направил лошадь на восток, к берегу. Никем не подгоняемая, она быстро побежала по льду.

Бурмистров некоторое время бежал рядом с конем, потом завалился в сани. Отдышавшись, он наклонился к Мокроступу и с обычной своей усмешкой проговорил:

— Тише едешь, товарищ Ваня. дальше будешь.

Мокроступ натянул вожжи. Предосторожность оказалась кстати: впереди в кромешной мгле слышались треск льда и шум воды. Конь опять оста-

новился недалеко от края черной полыньи. Хлопья снега, падая в воду, покрывали ее густой рябью.

Бурмистров снял шапку, озабоченно поскреб затылок. Выскочив из саней, он подбежал к Жуку, около которого уже хлопотал Мокроступ. Пограничники в четыре руки распрягли лошадь. Мокроступ отпустил чересседельник, развязал супонь; Бурмистров снял отсыревший гуж, вывернул дугу и вывел из оглоблей дрожавшего и пугливо всхрапывающего коня.

Игорь Кругляк схватил рацию и растерянно топтался около саней.

— Надо просигналить «сос», — пробормотал он.

— Успеем, не горячись, — возразил старший. — Засучивай-ка рукава да берись за дело.

Бурмистров снял с себя полушубок, кинул его в передок саней. Глядя на него, разделись Кругляк и Мокроступ. Втроем они осторожно подтолкнули сани к краю льдины. Полынья пока была небольшая, метра полтора в ширину. Разогнавшись. Бурмистров перепрыгнул ее. Схватившись за оглобли, сержант командовал:

— Толкай!

Сани надежно, не зачерпнув воды, легли выгнутой частью полозьев на большую льдину. Кругляк благополучно перебрался по ним через полынью.

— Теперь надо Жука переправить, — сказал Бурмистров.

Но лошадь, не ожидая понуканья, уже сама направилась к полынье. Прыгая, Жук поскользнулся задними ногами на рваной кромке льдины и упал в воду. Вынырнув, он испуганно замотал головой и быстро поплыл вдоль полыньи.

— Сюда, сюда! — закричал перебравшийся через полынью Мокроступ.

Как ни бился Жук грудью и передними ногами о лед, но ему не удалось выкарабкаться из воды без помощи пограничников. Они палкой подвели под брюхо коня крепкую веревку и с большим трудом вытащили его на лед. Жук вскочил, тяжело дыша и дрожа всем телом.

— Ничего, ничего, согреешься! — успокаивал вороного Мокроступ.

Он натирал его бока соломенным жгутом и мешковиной. Вытерев Жука насухо, Мокроступ накрыл его палаточным брезентом и только после этого прислонился щекой к его теплой атласной шее, устало закрыл глаза. Он еле держался на ногах.

Перед тем как отдавать приказ на охрану границы, начальник заставы, как обычно, спросил Мокроступа: «Не больны? Службу нести можете?» Солдат чувствовал легкое недомогание, его временами знобило, временами бросало в жар. Но так как он до сих пор за все двадцать два года своей жизни ни одного дня не пролежал в постели по болезни, не бывал даже в больнице, в санчасти, то естественно, этой хворобе не придавал никакого значения считая, что она скоро пройдет. Мокроступ ответил начальнику, что здоров, службу нести может. Так он поступил потому, что ему не хотелось отстать от товарищей, идущих на охрану самого трудного участка границы.

Но болезнь не прошла. Наоборот, с каждым часом она давала о себе знать все сильнее, и казалось, хотела во что бы то ни стало сломить могучий организм солдата. Мокроступ не сдавался: делал все, что выпало на его долю в эти трудные мину-

ты, стараясь ничем не выказать своего недомогания. Бурмистрову и Кругляку и в голову не приходило, что Мокроступ держится на пределе своих сил, что температура у него под сорок. И вот только сейчас, когда с Жуком случилось несчастье, он почувствовал сильную слабость, стал терять над собой власть.

— Чего же ты прохлаждаешься, Мокроступ? Запрягай живее! — хриплым голосом проговорил Кругляк.

При этом он раздраженно размахивал руками и с опаской поглядывал на черную полынью.

Мокроступ открыл глаза, посмотрел на суетившегося перепуганного товарища. Ему стало стыдно своей минутной слабости, и он бросился запрягать коня.

— Отставить! — приказал Бурмистров. — Игорь, птичка певчая, где ты потерял свой соловьиный голосок?

— Что? — Кругляк с изумлением смотрел на усмехающегося Бурмистрова.

Он решительно не понимал, как тот, находясь в таком бедственном положении, способен шутить.

— Не дошло? Разворачивай рацию! — сказал уже серьезно и повелительно Бурмистров.

Кругляк бросился выполнять приказание. Через минуту он уже настраивал передатчик. Старший тем временем расположился на охапке сена и начал переобуваться. Он с обстоятельной аккуратностью накручивал на ноги чистые сухие фланелевые портянки.

— Готово! — доложил Кругляк.

— Передай: терпим бедствие.

В эфир полетел тревожный, понятный всем ради-
стам мира сигнал «сос».

Больше Кругляк не успел передать ни единого слова: с оглушительным треском раскололась льдина, на которой пограничники еще минуту назад чувствовали себя в безопасности.

— Вот видишь, что творится, а ты еще кричал: «Запрягай». — Бурмистров обулся и неторопливо обошел значительно уменьшившийся островок, выбирая место для переправы.

Эвакуировались испытанным способом: приспособили сани под мост. И на этот раз большие хлопоты доставил Жук. Он упирался о лед стальными шипами подков, дрожал и никак не хотел прыгать через трещину. Ни уговоры, ни ожесточенные крики, ни даже подхлестывание кнутом не могли сдвинуть его с места. И тогда счастливая догадка осенила Мокроступа. Он взобрался на лошадь, погнал ее вперед. Страх перед холодной водой не оставил Жука. Он храпел, взвивался на дыбы, но все-таки наконец, чувствуя на своей спине хозяина, решился прыгнуть.

Соседняя льдина тоже оказалась островом, довольно большим и как будто надежным. Прошел час, другой, но она не раскалывалась.

Передав на берег радиogramму о своем положении и обстановке, пограничники натянули палатку, зажгли фонарь. Ветер звонко хлестал снегом в набрякшие брезентовые полотнища, сотрясал до основания все хрупкое сооружение. Невдалеке слева и справа трещал и ломался лед. Временами ураган с такой яростью обрушивался на палатку, что казалось, она вот-вот оторвется от железных колышков и улетит. В такие минуты Бурмистров, Мокроступ и

Кругляк наваливались на веревки, привязанные также к полозьям саней, и давили на них всей тяжестью своих тел.

— Пронесло! — улыбнулся Бурмистров, когда ветер чуть утихомирился.

Мокроступ беспокойно похлопал ладонью по брезенту с подветренной стороны, чтобы убедиться, на месте ли Жук.

Кругляк, закрыв глаза, угрюмо прислушивался к тому, что творится за стенами палатки.

В назначенный по расписанию час настроили радию и приняли с берега первую ответную радиogramму. Ее прислал не начальник заставы, не комендант, а начальник войск округа. Она была предельно краткой, но содержала все, в чем нуждались люди, попавшие в беду: «Держитесь, не падайте духом. Принимаю все меры для спасения».

Бурмистров записал текст радиogramмы. Переждав особенно свирепый порыв ветра, он прочитал ее вслух:

— Держитесь... Принимаю все меры...

— Все меры... — угрюмо отозвался Кругляк. — Какие же, интересно? Сварят автогеном балтийский лед?

Бурмистров неожиданно рассмеялся.

— Чего хохочешь? — изумился Кругляк.

— Так... Подумал о том, что сказали на берегу, когда узнали про наше бедствие: «Так там же Игорь Кругляк, первый наш песенник, веселая душа. С таким не пропадешь при любой беде!»

Кругляк сердито запыхтел на своей охалке сена, ожесточенно чиркая отсыревшими, не желающими зажигаться спичками.

— Дай-ка сюда! — Бурмистров нащупал в темно-

те руку товарища, взял у него коробок, и через секунду в палатке вспыхнул уютный малиновый огонек.

— Прикуривай! — добродушно сказал сержант, с любопытством вглядываясь в осунувшееся лицо Кругляка, в его глаза, тревожно блестевшие в глубине больших темных орбит.

Кругляк закурил, гневно пыхнул струей дыма:

— Да не про то я сказал, о чем ты подумал, а совсем про другое. На помощь рассчитывай, а сам не плошай. Вот!

— А это — совсем другое дело. Это правильно. Плошать мы действительно не должны! Ложись-ка, Кругляк, спать. Успокойся...

Бурмистров молча, с добродушной улыбкой на губах смотрел на поднятые оглобли, смутно чернеющие на фоне густо заиндевелою полотнища, ожидая, что Игорь скоро заговорит. Он был уверен, что тот не заснет. И в самом деле Кругляк скоро поднялся и, опираясь на локоть, тревожно, с обидой в голосе сказал:

— Чего ты, сержант, ко мне начал придирааться? Скажи прямо. Нос мой не нравится? Глаза не на том месте? Голос...

— Спи... Потом, на земле, обсудим этот вопрос.

— Нет, ты сейчас скажи.

— Спи!

В санях послышался шум. Мокроступ, тяжелый, неловкий, вылезал из саней. Вытянув руки, болезненно щурясь на огонь фонаря, он искал завязки на фартуке дверок палатки, тыкаясь пальцами в холодный, обросший снежным мхом брезент. Глаза его были красными, с набрякшими веками.

- Ты чего, Иван?
- Хочу коня проверить!
- Отдыхай, на месте твой Жук.

Успокоившись, Мокроступ влез в сани, завалил себя сеном и снова притих.

В обусловленный графиком час радиоприема из штаба поступила новая радиограмма. Генерал сообщал: «Для вашего спасения вышел ледокол».

Кругляк украдкой, из-под согнутой руки, наблюдал за сержантом, которого освещал желтоватый огонь фонаря. Русоволосый, с белесыми бровями северянина, краснощекий, обветренный, он спокойно сидел на корточках перед рацией и, положив на согнутое колено тетрадь в клеенчатом переплете, записывал радиограмму.

Кругляку мучительно хотелось узнать, о чем радировали с земли, но он терпеливо молчал.

Бурмистров перехватил его взгляд:

— Привет тебе, Игорь, от генерала. Выслал за твоей драгоценной персоной ледокол.

Кругляк закрыл глаза, ничего не ответив.

Бурмистров выключил рацию, отстегнул брезентовую дверь и вышел на лед. Густой снег стал сухим и колючим, будто песок. С наветренной стороны палатки поднимался большой ребристый сугроб. То вдали, то совсем близко, то глухо, то со звоном трещал лед. Сквозь завывания ветра доносились гулкие удары — свирепствовали штормовые волны, сталкивались льдины.

Жук тихонько заржал, когда к нему подошел Бурмистров. Он был весь белый, закуржавел, чернела только морда и радужно, почти по-кошачьи, горели в темноте глаза.

— Что, Жук, страшно? Еще бы! А ты не бойся, не бросим. На ледоколе для всех места хватит... Понятно? — сержант потрепал коня по теплой морде и скрылся в палатке.

Всю ночь не утихал снегопад, дул ветер, грохотали льды, но ледяной остров пограничников все еще держался. Под утро о замерзший брезент палатки забарабанил тяжелый крупный дождь. Под полозьями саней заблестели лужи.

В шесть ноль-ноль Бурмистров снова принял радиограмму и прочитал ее товарищам:

«Ледокол продвигается с большим трудом. При первой возможности высылаю самолет. Будьте готовы к эвакуации по воздуху».

Новое сообщение не обрадовало Кругляка. Он иронически усмехнулся и безнадежно махнул рукой.

— Жди в такую погоду возможности, — сказал он. — Придется на санях плыть... на дно морское...

Действительно, ни с рассветом, ни в течение всего дня не представилось возможности для вылета самолета. Дождь сменился ледяной крупой, потом рыхлым, водянистым снегом. И только ветер был постоянен, он дул с одинаковой силой, и все с моря. Не изменили тяжелого положения пограничников вечер и ночь: волны без устали рушили лед, гнали к берегу большую воду.

С земли несколько раз запрашивали пограничников о самочувствии и обстановке на льдине. Бурмистров скупно, одним словом докладывал: «Держимся».

Утром следующего дня Кругляк поднял голову и, не вылезая из саней, глядя на Бурмистрова исподлобья, решительно заявил:

— Надо самостоятельно пробираться к берегу.

Мокроступ укоризненно покачал головой и молча принялся раздувать костер, на что был большой мастер. Но даже он, сибиряк, таежный охотник, не справился с таким трудным делом: безнадежно отсыревшие дрова дымили, тлели, никак не хотели вспыхнуть огнем.

— Видал, Иван, каким самостоятельным стал наш Игорь! — Бурмистров усмехнулся: — Интересно, как же ты проберешься, если вода кругом?

— Пробьемся на какой-нибудь попутной льдине. Сани, лошадь и все барахло бросим. У нас сейчас одна боевая задача: спасти жизни! — с полным убеждением в своей правоте проговорил Кругляк.

— Ого!

— Да. Прочитай еще раз радиogramмы. Там ясно сказано между строк, что человек — самый ценный капитал.

— Это верно, жизнь — самое дорогое, что есть у человека, но беречь ее тоже надо с умом. Так, Иван, или не так?

Мокроступ, насквозь продымленный, в расстегнутом полушубке, с красными от холода руками кивнул:

— Помирать нам рановато...

— Можно и подождать!

Бурмистров вдруг взглянул на Кругляка и рассмехался:

— Вот не думал, что ты такой «герой».

Кругляк судорожно, будто смертельно ужаленный, приподнялся на локте, обиженно и гордо посмотрел на Бурмистрова.

— Ладно, Игорь, спи. Вернемся на землю, там разберемся, кто из нас был прав. Спи!

Старший хотел прикрыть солдата сеном, но Кругляк молча оттолкнул грубоватую дружескую руку Бурмистрова. Выскочив из саней, он взял свой автомат и вещевой мешок с запасом продуктов.

Мокроступ бросил разжигать костер и откровенно сочувствующими глазами посмотрел на товарища, но не сказал ни слова.

Молчал и Бурмистров. Он понимал, что всякая попытка облагоразумить Кругляка только обострит его упорство. Надеялся, что тот образумится сам. Если не сейчас, то позже, выйдя на лед, окруженный темнотой, пронизанный ветром.

Кругляк долго, пожалуй, слишком долго собирался: сменил валенки на сапоги, приторочил к ремню запасные диски, поднял воротник полушубка. Все готово, а он не уходил, озабоченно оглядывая палатку.

— Ты что, рукавицы ищешь? — спросил Мокроступ. — Потерял ты их, свои варежки. На вот мои, — он вытащил из кармана кожаные, на меху рукавицы, похлопал одна о другую. — Бери!

— Не нуждаюсь я в твоих рукавицах! — вскинув на плечо автомат, Кругляк выскочил из палатки.

Мокроступ просунул голову в дверную щель, озабоченно посмотрел на удаляющегося солдата.

— Ошалел парень от страха, — сказал Иван. — Все-таки надо его силой вернуть. Разрешите, товарищ сержант?

— Сам вернется, не тревожься.

Мокроступ вздохнул и неторопливо сел в сани. Ветер хлопал незастегнутой дверью, бросая в палатку снег, но ни Бурмистров, ни Мокроступ не закрывали ее. Оба прислушивались к вьюге и как будто чего-то ждали.

— Слышишь? — Мокроступ вскочил, подбежал к двери. — Вроде как Игорь кричит. Вот! Вот!

Даже сквозь ураганный ветер и грохот льдов доносился голос человека. Он звучал на одной предельно высокой ноте, и было ясно, о чем он так отчаянно взывал, о чем умолял.

Пограничники схватили связку веревок, багор, туго набитый сеном мешок и выскочили из палатки. Вернулись с Кругляком, неся его на руках. Весь он от сапог до плеч был покрыт ледяным панцырем, дрожал и стучал зубами. Втащив его в палатку, Бурмистров и Мокроступ обломали на нем лед, сняли с него верхнюю одежду, положили в сани, стали энергично растирать, затем прикрыли его шубами и сеном. Кругляк лежал молча, чуть дыша.

...К исходу третьих суток буря начала затихать. Вечером снег совсем перестал, а ночью вдруг открылось небо — высокое, обсыпанное круглыми яркими звездами.

Утром, едва рассвело, пограничники услышали гул моторов. Выскочив из палатки, они увидели в темно-синем небе самолет. Он летел стороной, не-вдалеке. Мокроступ и Кругляк замахали шапками, закричали:

— Сюда! Сюда!

Бурмистров вытащил на лед рацию, торопливо настроил ее на позывные пилота.

— Я вас вижу! Я вас вижу! Берите правее. Берите правее.

Самолет, сделав круг над льдиной, где были люди, пошел на посадку. Взяв на борт пограничников, он поднялся.

Взошло большое, не по-зимнему яркое солнце. Широкая солнечная дорога легла через весь ледя-

ной остров, от полыньи до полыньи. По этой дороге вслед за убегаящей тенью самолета и устремился оставшийся в одиночестве Жук. Длинная черная грива развевалась по ветру. Кованые копыта высекали ледяные искры. Добежав до края льдины, он остановился, поднял голову и заржал.

Мокроступ и Бурмистров неотрывно молча смотрели на холодный простор балтийских льдов, среди которых долго чернел, уменьшаясь и уменьшаясь, Жук.

Кругляк с тех пор, как забрался в кабину, ни разу не оглянулся. Он не сводил задумчивого взгляда с берега. Земля быстро приближалась. Земля, где надо было держать ответ за дни и ночи, прожитые на льдине. Спрос будет суровым, беспощадным, но Игорь этого не боялся, верил, что люди, вытащившие его чуть живого из полыньи и отогревшие своим теплом, не затопчут, не заклеят, наоборот, направят все свои душевные силы, весь свой справедливый гнев, всю горькую правду на то, чтобы он высоко-высоко поднялся над тем Кругляком, который тонул в черной балтийской полынье.





Александр ПУНЧЕНОК

Два честных слова

Представьте себе зимнюю картину: залив скован гладким-прегладким и совершенно голым льдом, потому что накануне ветер начисто смел со льда снег. На небе облака, парящие ледяные иголки, туманы и прочие метеорологические явления перемешались, сомкнулись и получилась сплошная неразбериха. Представляете? Насколько видит глаз, настолько простирается однообразная стеклянная равнина, накрытая большим матовым абажуром, к тому же будто бы запыленным.

И вдруг оживился пейзаж. На сером фоне возникло подвижное белое пятно. Первым заметил его с вышки сержант Коняев, заметил и немедленно вызвал меня на вышку. Это уже можете не представлять. Поверьте на слово. Невооруженным глазом видели мы, как через наш участок границы прорвал-

ся неизвестный. А стереотруба увеличивала картину до таких подробностей, которые не сулили ничего хорошего. Нарушитель в маскировочном костюме уходил на спортивных финских санях.

Не все знают, что это за сани. В двух словах объясню. К длинным и узким, вроде коньков, полозьям приделано сиденье, напоминающее стул. Человек, держась за него, встает одной ногой на полоз, а другой отталкивается ото льда или наезженной зимней дороги. Чтобы нога не скользила, на нее надевают специальную металлическую «кошку» с шипами. На финских санях можно развивать большую скорость. А тут, как нарочно, ветром расстило лед.

Негодяй удачно выбрал момент и подготовился, скажу откровенно, превосходно.

Еще разглядел я в стереотрубу, как мои солдаты на лыжах пытались преследовать нарушителя. Больно было смотреть. Лыжи у них беспомощно разъезжались по скользкому льду в стороны... В общем положение создалось критическое. Пропусти мы каких-нибудь полчаса — нарушитель окажется недосягаемым.

Как же догнать его, на крыльях, что ли?

Мысль эта явилась от досады, но именно она и привела меня к разумному решению. Вспомнил я о настигающих могучих крыльях. Да, конечно, только самолет мог перехватить бандита.

Неподалеку от заставы располагалась наша авиационная часть, и я позвонил туда. Объяснил обстановку... Не забывайте, что на все это уходили считанные секунды.

Командир части спросил:

— Вы думаете, самолету удастся сесть на голый лед?

Я понимал, насколько трудна для летчика подобная задача, и все-таки стоял на своем:

— Попробовать, если...

Командир части перебил меня:

— Я не помню, чтобы кто-нибудь делал такую посадку, но у меня есть один орел.

— Значит...

— Значит, надо сделать. По существующим положениям я должен получить на это приказание командования, но если положение чрезвычайное — беру ответственность на себя и сейчас же поднимаю самолет.

Вот настоящее понимание долга!

Теперь расскажу, что произошло с одним летчиком до того еще, как я обратился к авиаторам за помощью.

Служил в авиационной части отважный лейтенант Иван Подрубаев. Его-то и имел в виду командир, хотя держал он молодого офицера на особом счету за провинность именно в летном деле.

Была у лейтенанта Подрубаева любимая девушка. Работала она в столовой при санатории, неподалеку.

Когда летчик отправлялся в учебный полет, то непременно пролетал низенько над санаторием, выключал на минутку мотор и кричал сверху:

— Ка-а-тя!

Она выбегала из столовой, махала ему рукой, он ей — крыльями и улетал.

Отлично. Продолжалось так до той поры, пока не повздорили они промеж собой из-за какого-то

пустяка. Катя перестала выбегать на призывный поднебесный клич.

Ах, вот оно что! Подрубаев осерчал и стал действовать по-другому. Он набирал подходящую высоту и с ревом, со свистом пикировал на столовую, обитатели которой, особенно старики и старушки, разбегались кто куда. В результате они написали жалобу командиру, тот сделал летчику строгое предупреждение и на время отстранил от полетов.

Командир очутился в крайне затруднительном положении, когда остановил свой выбор на молодом офицере с горячим характером. Только Подрубаев мог выполнить столь трудную задачу — перехватить нарушителя границы, но ведь сам же командир отстранил от полетов молодого офицера.

А там на льду с каждой секундой, с каждым толчком бандит удалялся от берега.

Командир приказал вызвать экипаж лейтенанта Подрубаева, коротко обрисовал обстановку и потребовал:

— Но дайте мне, лейтенант, два честных слова. Первое — что выполните задачу, второе — что никогда больше не будете летать над санаторием, вообще не будете думать в воздухе о постороннем

Подрубаев ответил:

— Насчет первого, товарищ подполковник, даю слово — выполняю, а насчет второго... — Он замялся. — Разрешите дать его, когда вернусь.

— Разрешаю, — махнул рукой командир полка.

Дальнейшее происходило уже на наших глазах. Самолет низко пронесся над заставой и, спустя какую-нибудь минуту, настиг негодяя.

Я наблюдал в стереотрубу. Вряд ли доведется

когда-либо увидеть более захватывающий или хотя бы подобный поединок.

Подрубаев сделал над бандитом несколько кругов, но тот и не думал останавливаться, открыл огонь из автомата на ходу. Не велико оружие — автомат, а попади пуля в мотор или в летчика, тут, как говорится, и сказу конец.

Следующим заходом Подрубаев снизился настолько, что мог лыжами самолета снести вражью голову. Нарушитель же оказался матерым, способным на самые подлые выдумки. Он лег на спину и поставил перед собой сани дыбом. Наткнись на них самолет — рухнет, и вдребезги! Летчик вовремя заметил опасность и взмыл кверху. На этом заходе негодяй и ранил его. Но даже тогда Подрубаев не открыл огня. Он решил взять нарушителя живым. От мертвого многого не узнаешь.

Экипаж самолета состоял из трех человек, значит, риск при посадке утраивался. И все-таки Подрубаев пошел на посадку. И все-таки он посадил самолет на голую ледяную поверхность.

Схватка продолжалась на льду. Обойденный летчиками с трех сторон, бандит отбивался отчаянно и только раненный джажды прекратил сопротивление. Как раз к месту боя подоспели пограничники.

Вам может показаться, будто роль пограничников в произведенной операции незавидная. Напрасно. А кто обнаружил нарушителя? Мы, пограничники. Другое дело, что все так сложилось, но ведь выход из очень трудного положения нашелся все-таки, и нашли его мы. Ну, а касательно задержания... Запомните раз и навсегда: мы несем каждодневную службу по охране государственной границы. А

когда дело принимает чересчур серьезный оборот, нам помогают все: местное население, корабли, авиация и даже быстрые, остроглазые, беспокойные пионеры.

Да, чуть не забыл рассказать о втором честном слове, которого лейтенант Подрубаев так и не дал командиру.

Раненого летчика сразу же отвезли в госпиталь, где пролежал он около месяца. Выздоровляющего навещали приятели, командир части и чаще всех — Катя.

Однажды девушка и командир повстречались в госпитале. Разговорились.

— Зачем вам этот санаторий? — сказал командир. — Переходили бы к нам.

— А можно? — нерешительно спросила девушка.

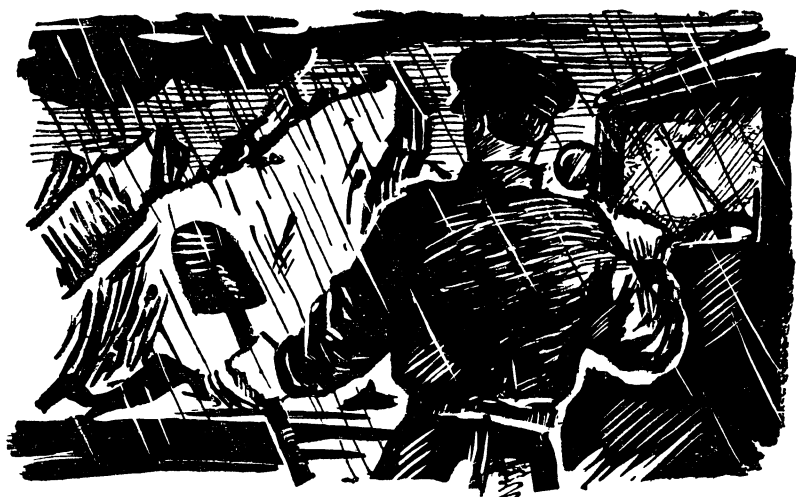
— Не можно, а нужно! — почти приказал командир.

— Есть, — коротко, по-военному ответила она.

Действительно, в скором времени Катя перешла работать в офицерскую столовую авиачасти, а когда Иван Подрубаев выздоровел, друзья-приятели знатно отпраздновали в этой же самой столовой их свадьбу.

Так все и обошлось без второго честного слова.





Анатолий ПРОСКУРОВ

Горы-корабли

Эту бурую, всегда голую степь, что начинается сразу за поселочком, горы, ухабистую пыльную дорогу они знали назубок. Рядовой Подкорытов знал дорогу еще лучше. Он шофер. Он изучил на пути все канавы и рытвины, хлипкие мостики, опасные спуски и повороты так, что в глухую ночь мог ездить «на ощупь». А Цебикову больше знакомы степь и горы. На дорогу он глядел безучастно. Но после дождей, когда она превращалась в сплошное месиво, он говорил: «Петя, осторожно — промоина...» или «Гляди, мостик может провалиться.»

— Вижу, — негромко ответит Подкорытов и заскользит жилистыми, красными от напряжения руками по баранке.

Он вообще не отличался разговорчивостью За

все время, пока «козлик» проходил длинный путь от штаба отряда до самой дальней заставы, они обменивались несколькими фразами. И даже в распутицу, когда Цебиков не удерживался, чтобы не подказать шоферу, где и как легче проехать, разговаривали мало и занимались каждый своим: Подкорытов из-под густых белесых бровей смотрел на дорогу спокойно, даже вроде бы лениво, но в то же время сторожко, напряженно, а Цебиков, если не клонило ко сну, рассматривал до мелочей знакомые уже степь и горы, думал... Так вот за два года, складывая слово к слову, они узнали друг о друге не очень много, но это не мешало им вместе колесить от заставы к заставе, доставляя кинокартины, плечом к плечу копать в моторе вездеходика, если тот хандрил, или в кинопроекторе, чтобы, не дай бог, заставские ребята не сказали во время сеанса то обидное слово, которым крестят нерасторопных киномехаников, и понимать друг друга. Подкорытов знал, что Цебиков не прочь поразглагольствовать после «жизненной» картины, пересказывать особенно понравившиеся эпизоды и не обидится, если он не разделит его восторгов. Цебиков заметил, что шофер не любит, когда ему мешают делать свое дело, сердится, а в общем-то человек он невозмутимый.

Были у них и разногласия. В то время молодой солдат-киномеханик, еще с не отросшими после домашней стрижки волосами, только начинал путь от заставы к заставе с шофером, уже год ездившим по этой дороге. Осенью и зимой, в период частых ливней и нудных обложных дождей, Подкорытов, не доезжая до намеченной заставы, перед трудным участком дороги сворачивал на отстой. Как ни

убеждал его Цебилов — мол, на заставе их ждут не дождутся, — как ни упрасивал, Подкорытов говорил одно и то же:

— Мне на ней ездить да ездить. Зачем надрывать зря?

— Как это зря? — горячился Цебилов. — Для людей же.

— Все посмотрят, не горит... — отвечал шофер. Перед одним из перевалов, когда Подкорытов повернул машину назад, Цебилов кинул ему в лицо:

— Трус!

Подкорытов и не взглянул на него. Молча довел машину до разъезда, и там стояли они дольше, чем обычно.

Они все же наверстывали упущенное время, успевали навестить каждую заставу. Цебилов уже начал привыкать к отстоям, как привыкают к помехам в работе, от которых невозможно или трудно избавиться. Он стал забывать перебранки с Подкорытовым, но тот неожиданно напомнил о них сам.

Однажды, когда ехали они по ровной и гладкой, как асфальт, полевой дороге, он сказал:

— А не трус я!

— Ты про что? — не сразу понял Цебилов.

— Возле перевала, помнишь? — шофер немного помолчал, давая возможность соседу подумать, а потом веско сказал: — Это тебя картины да книжки таким сделали. Не смотришь вокруг себя, только ими живешь. А там всегда ясно, кто прав, кто виноват. В конце под всеобщее одобрение плохого порицают, а правильного награждают. Но в жизни, брат, попробуй разберись. Было один раз у меня дело. В Карпатах, зимой. Гнал я порожняком за лесоматериалом. Подъезжаю к подъему на перевал,

гляжу: автобус стоит, люди возле него скучились, пар над ним стелется. Обхожу автобус. Впереди «газик» на подъем идет. Вдруг на дорогу выскакивает женщина. Затормозил еле-еле, хотел отругать, да вижу — плачет. В чем дело, спрашиваю. Оказывается, за перевалом, километрах в тридцати, мать у нее тяжело заболела. Автобус на перевал не пойдет, снежит там, а «газик» не взял: начальство какое-то поехало. Заплачу́, говорит, в сумочке копается, телеграмму показывает. Тут и водитель автобуса подходит. Рискнуть, говорит, можно, ежели прицеп оставить. Ну я и решил: рисковать, так рисковать. Посмотрел еще раз на женщину: плачет, дрожит от холода, руки посинели. Пригласил ее в кабину, поехали. Еще до перевала оставалось полпути, а я уже начал жалеть, что посадил ее в машину. Очень трудная была дорога. Но все же я кое-как дотянул до вершины. Обрадовался — самое трудное позади. Но вдруг за поворотом увидел, что путь впереди забит машинами. Пробка! Я на тормоз, но поздно. Дорога скользкая, машина прошла юзом. Врезался я в задний борт ЗИЛа, мою машинку развернуло, прицеп задел «газик». Пассажирка обо что-то ударилась. Беды не жди, сама к тебе придет. Где и автоинспектор взялся на такой высоте? Что да как?.. Объяснил ему. Инспектор измерил линию торможения, все правильно. Я уже начал приходить в себя, и тут он увидел женщину. Пробовал я объяснить, почему взял ее в кабину, куда там, и слушать не хочет. Не положено, и все тут. Одним словом, лишили прав на год... Это не картина, это жизнь.

Цебиков понял, к чему этот рассказ, не соглашался с Подкорытовым, но в глубине души все же шевелилось сомнение: а может, это действительно

так? Одно дело — кино, другое — жизнь. Но и в жизни видно, кто поступает хорошо, а кто плохо, только грани между хорошим и плохим иногда очень стерты и то и другое может совмещаться в одном. Вот их, например, никто не ругал за опоздания, а, наоборот, хвалили за то, что они справляются с работой, новую картину «крутят» на каждой заставе.

«Рисковать нужно там, где нужно» — таким туманным заключением успокоил себя Цебигов.

«Козлик» носился по пыльным дорогам, гладил брюхом грязь в распутицу, карабкался на перевалы, перебирал колесами стертые бревна на ветхих мостиках... Шли месяц за месяцем. И вот уже нет рядом Подкорытова. Где-то он теперь? И вдруг этот, новенький. И машину ведет не так, как Подкорытов. Тот водил ее степенно, серьезно, смотрел на дорогу из-под нахмуренных бровей, как бы прицениваясь, и вообще был на своем месте. А этот... То отвалится на спинку сиденья, упираясь руками в баранку, то пригнет к ней, как лихач-мотоциклист — ему бы еще фуражку козырьком назад да очки. То крутит баранку одной рукой, а другой облакачивается на дверку, высовывает голову в окно, посвистывает и напевает. От его широкого лица, от короткого, чуть вздернутого носа, обсыпанного веснушками, от голубых глаз и непокорного рыжеватого ершика «веет» аварией.

Цебигов искоса смотрит на него, потом переводит взгляд на знакомые до мелких штрихов безлистые деревца у арыка, пересекающего дорогу, на горы, горбящиеся слева, на белую черточку заставского дувала у подножия, долго глядит на пыль, вырывающуюся из-под правого колеса конусом, про-

вожает глазами запыленные под цвет земли серые кустики верблюжьей колючки, думает, и его мысли прерывает голос:

— Вот так и будем по заставам мотаться? — спрашивает новенький и улыбается чему-то своему. Не дождавшись ответа, он с той же довольной улыбкой продолжает:

— Дело, вот это дело! А то крутишься по участку одной заставы, как белка в колесе. А разве то езда? Тесно там, разогнаться негде. А я люблю так, чтобы ветер в ушах и места новые. Здесь — простор!

Он опять высунулся в окно и запел песенку, известную, наверное, только ему одному.

За курганом влево ответвляется узкая дорога, бежит мимо развалин древнего поселка, через бревенчатый мостик в горы, к перевальчику, через горбатую, как верблюд, вершину. За перевалом еще одно разветвление. Когда шел дождь, Подкорытов от этого перевальчика всегда сворачивал на третью заставу — ближе, и дорога ровней. А до четвертой...

— Культуру в массы везем, — как-то нараспев протянул новенький. — Нет, ты только подумай: это ведь тоже немаловажное дело, а? Всегда нас будут ждать. Если разобраться, так ведь не зря я с заставы ушел.

— О, да ты сознательный, — хмуро сказал Цебиков, не привыкший к тому, чтобы так грубо прерывали его размышления. — Это тебе на инструктаже сказали про культуру? Всегда так говорят, так что крути давай, да не лихачь.

Новенький перестал улыбаться:

— А чего ты обижаешься? Я что, не дело гово-

рю? Знаю, как ждут новую картину. Из наряда придешь на заставу, а здесь кинопередвижка! Усталость как рукой снимает. А ты — инструктаж. Я сам это знаю. Только сказал так — культуру в массы, — примирительно закончил шофер.

— Это не ты ли уставал в нарядах? Как ты умудрялся?

Шофер быстро взглянул на Цебикова, сунул в рот сигарету.

— И мне доставалось, дело такое, — спокойно сказал он.

Оба замолчали надолго. «Газик» резво бежал к кургану, наматывая на колеса белое полотно дороги, покачиваясь на неровностях и отчаянно пыля. «Ах, эта пыль! Сколько ее пришлось проглотить, сколько стереть с коробок и аппаратуры, — думает Цебиков. — Все лето она скрипит на зубах, пудрит тело щедрым слоем, забивает глаза. Погоняет новичок передвижку по этой дороге, покушает пыли, поскоблит липучую, что пристаёт не хуже цемента, рыжую грязь, тогда поймет, что к чему. И возможно, скажет новому киномеханику, что незачем зря надрывать машину, можно и без этого... Быстрей бы до кургана, а там поворот, дорога пойдет не такая разбитая и пыльная».

Новичок гонит, но уже не высовывается в окно, не улыбается. Хмурит редкие брови, поседевшие от пыли. Обиделся.

Плосковерхий курган приближался. Говорят, когда-то здесь стояла толстенная крепость с башнями, поэтому он и плосковерхий, напоминающий усеченный конус. Крепость разрушилась. Сейчас остатки стен не видно, только у подножий курганов стоят щиты, на которых написано, что такой-то курган

взят под охрану государством. Значит, недаром говорят о крепости. Когда-нибудь придут сюда археологи, раскопают, извлекут оружие...

«Посмотреть бы, что там на площадке, да все времени не хватает. Носишься, как угорелый, наверстываешь время, затраченное на отстой в непогоду. Вот и сейчас как бы не пришлось отстаиваться на тройке, вон какая туча наплзает». До четвертой заставы добраться в дождь невозможно — корабли не пройдешь. Так утверждал Подкорытов и не пытался этого делать.

«А все-таки интересно посмотреть, что там, на кургане. Должны же следы остаться...»

— Здесь поворачивать? — спросил шофер, притормаживая перед поворотом.

— Ага.

Машина качнулась в кювете и пошла ровно, шурша по гладко накатанной дороге.

— Поторопись, дружок, — сказал Цебииков водителю, поглядывая на край черной тучи.

— С удовольствием, — повеселевшим голосом отозвался тот, нажал на акселератор, и «козлик» побежал быстрее.

Ущелья в горах налились тенями цвета загустевшего смородинового сока. Дальние вершины заволакивались серой дымкой, растушевывались, исчезали в ней. Ветер, врывающийся в машину, уже нес предгрозовую свежесть.

«Не проскочим», — подумал Цебииков.

На первом перевальчике, что на горбатом хребте, дождь ополоснул пыль с «козлика», забарабанил по брезентовому тенту. Тучи здесь текли еще высоко. Цебииков посмотрел на корабли и увидел, что облака глядят отвисающей бахромой их вершины.

Когда спустились с перевальчика, Цебиков сказал шоферу, показывая на блестящую от дождя дорогу, уходящую в сторону:

— Вот здесь сворачивай. Поедем на тройку.

— Почему на тройку? — удивленно поднял брови водитель. — Это не дело, ведь мы должны ехать на четвертую.

— А корабли?

— Какие еще корабли?

— А, да откуда тебе знать-то...

Кораблями нарекли две горы с общей подошвой, вытянутой в длину, отдаленно напоминающие два идущих в кильватере судна. Северные скаты высот опускались круто — точь-в-точь форштевни старых броненосцев. Неровности гребней, чем-то похожие на палубные надстройки, дополняли это впечатление. Между этими надстройками одного из кораблей проходит дорога к заставе, стоящей в котловине, и никак этих кораблей, высоких и крутых, не объехать.

— Так что давай сворачивай, — лениво, как бы нехотя говорит Цебиков. Но новенький останавливает машину, достает плащ, накидывает его на плечи и выпрыгивает на дорогу. Он долго смотрит на завешанные серой кисеей вершины кораблей, как будто отыскивая там ниточку дороги, топчется на мокрой земле, ковыряет ее носком сапога, потом решительно распахивает дверку и спрашивает:

— Там камни есть?

— Ты все-таки вздумал туда? — спросил Цебиков, сдерживая раздражение. — Не такие пробовали, не ты первый.

Цебиков сказал это, имея в виду прежнего водителя кинопередвижки. Он не помнил случая, что-

бы тот пытался взобраться на корабли в ненастье, но ему хотелось верить, что Подкорытов это делал.

— Не дури, — строже сказал Цебилов. — Сворачивай на тройку.

— А картина? Ее ждут на четвертой.

— Посмотрят все, не горит...

— Но ее ждут сегодня. Сегодня, понимаешь? — шофер сказал это таким голосом, что Цебилов с удивлением посмотрел на него. Он увидел широко раскрытые синие глазищи, в которых застыли недоумение («Как ты этого не понимаешь?!») и твердая убежденность в своей правоте. И опять Цебилову показалось, что шофер прочитал в его душе все то, что он давно запрятал в самый укромный уголок. Но на этот раз ему не захотелось язвить. Он отвернулся и пробормотал:

— Не пролезешь — пеняй на себя.

У подножия кораблей новичок вышел из машины, еще раз попробовал дорогу, нахлобучил фуражку. Теперь он не напоминал того легкомысленного лихача, каким видел его Цебилов на ровной дороге. Паренек подтянулся, глаза его смотрели остро, серьезно.

Дождь лил ровно, густо, так что трудно было предположить, когда он кончится — через час или через неделю. Тент позванивал, как туго натянутый бубен. Над капотом стоял густой туманец из водяной пыли. Впереди, заслоняя все небо, поднимались громады кораблей. Дождевые капли залетали в кабину, и Цебилов, спасаясь от них, отвалился на спинку сиденья, полуприкрыл глаза, прислушиваясь к напряженному стону мотора.

Машина с трудом одолела половину перевала, но тут вдруг задрожала, заскользила в сторону. Шо-

фер завертел баранкой, мотор взвыл, но поздно. «Козлик» буксовал. Новичок выключил зажигание, выскочил на дорогу. Цебилов слушал, как он шлепал по грязи, чем-то стучал. Потом водитель, весь измазанный, влез в кабину, нажал на стартер. Дрожь, воняя перегретым маслом, «газик» покарабкался по крутому боку горы. Цебилов глядел в дымчатую пелену дождя. Машина казалась ему небольшой козявкой на великаньем боку, шумливой, но беспомощной. Ему стало зябко, неудобно. Росло раздражение к выскочке-шоферу: из-за него он очутился здесь и неизвестно, когда доберется до заставы. Он кинул взгляд на новичка. По лицу того струился пот, и, резко отрывая руку от руля, он рукавом гимнастерки вытирал капли, размазывая грязь.

«Давай, давай, до перевала еще далеко, — думал Цебилов, — узнаешь, что одного желания в срок доставить кино мало, нужно считаться и с обстоятельствами».

Но вместе с тем он желал и другого: хотелось, чтобы «козлик» перевалил вершину, подбежал к заставе, когда там ждут. И если бы это не он, молодой шофер, а Подкорытов рискнул подняться на корабль, то киномеханик сделал бы все для того, чтобы передвижка покорила перевал.

Вот машина опять заскользила в сторону, задрожала, буксуя, и мотор заглох. Темно-серая стена горы стала еще мрачней. Шофер откинулся на спинку сиденья, устало вытер лицо.

— Перекур.

— Сели? — с иронией спросил Цебилов.

Водитель молча кивнул головой, открыл дверцу и вышел под дождь. Цебилов послушал, как высту-

кивают полновесные капли по туго натянутому тен-ту, накинул плащ и вылез из машины.

Дорога как бы врезалась в гору. С обеих сторон высились крутые отвалы, смываемая с них дождем глина вязким слоем покрывала гравий, которым был устлан путь. Машина развернулась поперек дороги, задние колеса попали в такую жижу, что кино-механику ничего не оставалось, как снова ругнуть в душе шофера. Тот, посвистывая, обходил машину, постукивал сапогом по баллонам, как это делают все шоферы на свете.

«Бодрится», — подумал Цебигов.

Дождь не переставал.

«Придется сидеть здесь, пока не подсохнет. И все из-за этого выскочки».

— Послушал я тебя, чудака, да, видать, напрасно, — зло упрекнул он новичка.

Шофер ничего не ответил, только громче засвистел. Пока Цебигов подыскивал слова поядовитей, он вынул лопату и принялся отгребать грязь от задних колес. В лунки, образовавшиеся в глине, тут же набегала жидкая грязь, но парень молча продолжал ковырять лопатой. Молчание его еще сильнее разозлило киномеханика, и он, выругавшись, залез в машину. Сквозь шум дождя он угадывал частые жирные шлепки — это водитель кидал грязь. Потом тот, весь мокрый, разгоряченный, влез в кабину, включил мотор, покачал «козлик» взад-вперед и опять выскочил под дождь.

— Сели, так уж не вылезай из кабины, простудишься! — крикнул ему Цебигов и в ответ услышал:

— Иди ты, знаешь куда...

И снова шлеп, шлеп, шлеп...

«Все равно подойдешь, попросишь помощи», —

улыбнулся Цебиков. Но шлепки продолжались. Нужно было шоферу сказать одно слово — «помоги», и Цебиков пришел бы на помощь. А самому хватать лопату — это отступление...

Перед одним из перевалов стояли они с Подкорытовым под дождем, вернее, стоял Цебиков, а Подкорытов сидел в кабине, слушая, как уговаривает его киномеханик. Он готов был нести машину на руках, только бы прибыть на заставу вовремя. Он знал, что со всех наблюдательных вышек на заставу уже полетело: «Кинопередвижка!», и даже ощущал то разочарование, которое постигнет ребят, если картина не прибудет. Но Подкорытов остался верен своей натуре. Киномеханик сдался...

Цебиков рывком распахнул дверку, нырнул в дождь, молча отобрал у новенького лопату.

Потом он толкал «газик», уже не увертываясь от грязи, летевшей из-под колес; таскали камни и мостили ими дорогу вдвоем и пробирались вперед: когда «газик» застревал, казалось, основательно, он толкал его плечом, спиной, напрягаясь до красных кругов в глазах. Странно: он не уставал, и когда облепленная грязью машина остановилась на гребне горы-корабля, даже чуть-чуть пожалел, что дальше толкать ее не придется.

— Ну что? — с веселыми искорками в глазах крикнул шофер. — Это дело! Го-го! Корабли-и-и!

По его смеющемуся грязному лицу бежали дождевые струйки, и весь он был измазанный, буд-то из болота вылез.

— Культуру в массы везем, а тебя вроде черт из рукава вытряхнул. Тоже культура! — захохотал Цебиков, потом спросил: — А как тебя зовут? Понимаешь, даже неудобно...

— Колькой звали.

— Закурим? — зашарил по карманам киномеханик, а когда вытянул раскисшую пачку «Памира», еще сильнее развеселился.

В машине они тоже смеялись, вспоминая эпизоды подъема, и каждому хотелось сказать друг другу приятное.

— Характерец у тебя, — восхищался Цебииков. — Жду, думаю, сейчас попросит помощи. А он ковыряется да сопит, как жук.

— А я думаю: вот, черт, засиделся, разленился. Знал, что вылезешь сам, вот и не просил.

Уже сгущались сумерки, когда «козлик» сполз в котловину. Вершина осталась в темных облаках, а застава встречала машину светящимися сквозь мокрый мрак окнами. У ворот заставы в свет фар выступил неуклюжий в своем дождевике, блестящем, как рыцарские доспехи, часовой. Долго всматривался в машину, потом повернулся, распахнул ворота и скрылся во дворе. Оттуда донесся привычный радостный голос:

— Ребята, картина! Картина приехала-а-а!

А из казармы, как эхо: «Качать!!!»

Долго не спалось Цебиикову. Он вспоминал бурную встречу. Никогда раньше такого не было. Ребята чуть не силой заставили надеть чье-то чистое сухое белье, угощали сигаретами. В душу кралась непонятная тоска, будто что-то потерял безвозвратно. Захотелось перекинуться словом с Колькой, но тот ровно посапывал. Киномеханик не решился потревожить его сон. Пусть спит, устал. Он сделал свое дело.

За окнами заставы горбились в черных сырых сумерках вершины гор, названных кораблями.



Анатолий МАРЧЕНКО

Бухта Провидения

Мне приходилось бывать на многих участках нашей границы. Каждый из них по-своему сложен, прекрасен и удивителен.

Чукотка — единственная в своем роде.

Чукотку не сравнить ни с чем.

Нет нужды перечислять, в чем ее неповторимость. Скажу коротко: перед людьми, которые здесь живут и служат, хочется снять шапку.

Хочется учиться у них мужеству и непреклонности.

Подражать их обжигающим улыбкам.

Радоваться их вере в жизнь.

Миниатюрам, посвященным Чукотке и ее людям, я дал название «Бухта Провидения». И не случайно.

Конечно же, Бухта Провидения — это не вся Чукотка, это лишь одна точка на карте.

Но восхищает уже то, что само название далекого поселка как бы спорит с привычной символикой, заключает в себе новый высокий и гордый смысл.

Провидением ли, всевышними силами ли было уготовано Чукотке радостное сегодня и еще более счастливое завтра?

Нет, то иное провидение, иная сила, иная воля.

Державная воля народа.

Несокрушимая сила залпа «Авроры».

Мудрое Провидение партии.

Звезды

Чукотские звезды...

Когда над Бухтой Провидения не метет ведьма-пурга...

Когда ленивым тяжелым туманам надоедает прятать под собой неласковую землю...

Когда устало умолкает океан...

В такие ночи в недосыгаемую высь уходит чистое небо.

Небо с крупными звездами.

Даже в южной ночи они не горят так самоотверженно и так ярко.

Будто знают: земле холодно. И очень хотят ее согреть.

Будто видят: на земле трудятся люди. И очень хотят осветить им пути.

Им, далеким звездам далеких галактик, радостно и весело отвечают звезды земные: огни гиганта — рудника имени Ленина, прииска имени XXII съезда КПСС, огоньки в палатках геологов, в стой-

бищах оленеводов, на мачтах рыболовных сейнеров.

Огни Анадыря. Лаврентия. Уэлена. Билибино...

Скоро вспыхнут новые — заработают турбины Амгуэмской ГЭС, стремительно потечет по проводам ток первой на Чукотке атомной станции.

И еще вспыхнет много-много новых ярких огней.

Звезд первой величины.

Звезд новой пятилетки...

А когда просыпается океан...

Когда все дальше и дальше уползает ночь...

Когда чайки особенно неистово пикируют на косяки рыб...

В такие зори искрой, высеченной из солнца, полыхает солнечный пожар.

Самый первый и самый огненный луч, луч счастья, надежд и удачи, синим всполохом отражается в зорких глазах пограничника.

Загорается пятиконечная звезда на зеленой фуражке.

Родная сестра рубиновых звезд Кремля...

Здесь рождается утро Родины.

Здесь ее первый рубеж.

Она, Родина, за спиной.

Могучая и родная. С ясной головой, пламенным сердцем. С добрыми и требовательными материнскими руками.

Она верит пограничнику. Она говорит ему: «Ты отвечаешь за все:

За мирное дыхание Чукотки.

За ясные звезды России.

За Советский Союз».

За проливом — Америка

Через Берингов пролив — Америка.

Когда в Бухте Провидения вторник, там, на Аляске, еще понедельник.

Не удивительно: Америка — страна вчерашнего дня.

Пусть это подтвердит сам американец, корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс» Гомер Бигарт. Недавно он побывал на Аляске, в городе Бетеле.

Бигарт долго ходил по немощеным, грязным улицам, смотрел на жалкие лачуги, сделанные из толя и выброшенных морем бревен. В лачугах жили индейцы и эскимосы. Сырой, смрадный воздух стоял над трущобами.

Дотошный корреспондент узнал, что среди местных жителей самый высокий процент больных туберкулезом в Соединенных Штатах. И что детская смертность в пять раз превышает среднюю по стране.

Бигарт посетил рыбоконсервные заводы, открытые всего шесть недель в году. Беседовал с охотниками, горько сетовавшими, что их бесстыдно обманывают торговцы, которым они продают меха.

И везде на него смотрели глаза, полные печали и ненависти.

Обо всем этом Бигарт рассказал в газете.

И я представил себе мистера Бигарта на Советской Чукотке.

Истина познается в сопоставлении.

Он увидел бы, как сказочно преобразилась древняя родина чукчей и эскимосов, ламутов и юкагиров, эвенов и чуванцев.

Там, где в тундре редко можно было встретить

даже валкаран — хибару из шкур, натянутых на череп кита...

Там, где люди пережили до революции девяносто девять голодовок за сто лет...

Там, где было три начальные школы, пять учителей, четыре кабака, одиннадцать церквей и семьдесят два шамана...

Там ныне города, залитые морем электрических огней.

Рудники и прииски, отбирающие у жадной, веками неприступной тундры ее несметные богатства.

На месте дымных яранг — современные жилые дома.

Только в Чукотском национальном округе более двухсот школ, а школьники живут в интернатах на полном государственном обеспечении.

Мистер Бигарт мог бы заехать в оленеводческий колхоз. И увидеть здесь рацию. И вертолет над стойбищем. И посмотреть в клубе новый кинофильм.

Мог бы узнать, что денежные доходы в колхозах Чукотки возросли за семилетку с 3,4 до 15,9 миллиона рублей.

Мог бы убедиться, как безнадежно отстали строки Фета:

У чукчей нет Анакреона,

К зырянам Тютчев не придет...

Отстали, потому что в самые отдаленные уголки Чукотки пришли Пушкин и Лермонтов, Горький и Бальзак, Маяковский и Бетховен. Потому что и в нашей стране и за ее пределами знают чукотского писателя Юрия Рытхэу. Потому что чукчи и эскимосы овладевают вершинами литературы и электроники...

На современном самолете Бигарт попал бы, скажем, в Билибино.

Там он увидел бы, с каким энтузиазмом штурмуют природу горняки.

И везде он увидел бы смеющиеся глаза людей...

Что бы вы сказали, мистер Бигарт, на это?

Наверняка вы знаете, что смеющиеся глаза могут быть лишь у оптимистов.

Россия начинается с Ратманова

Россия начинается с острова Ратманова. Это всерьез. А в шутку — с Карякина.

Иван Карякин — начальник пограничной заставы.

На его груди орден Красной Звезды.

За мужество. За бдительность. За пограничное мастерство.

Здесь, на краю России, оно очень необходимо, пограничное мастерство.

Перед глазами пограничников — Америка.

Нацелены на нас острые носы ракет.

Жадно раскрыты «уши» радаров.

Словно призраки, выходят из густого тумана американские военные ледоколы «Буртон Айленд», «Стейнд Айленд», «Норд Винд».

Впритык к границе садятся на лед самолеты. Их пилоты именуют себя акционерами фирмы «Охота за белыми медведями» и с поразительным рвением фотографируют нашу землю.

Через границу пытаются проникнуть вражеские лазутчики.

Такие, скажем, как Сесил Август Стоунер, отправившийся к нашим берегам на надувной резиновой лодке.

Финал путешествия — задержан пограничниками: сержантом Ильенко, рядовым Мироновым, рядовым Жуковым. Возглавлял наряд сержант Лапкин.

А вот еще один случай...

Он пробирался через торосы. Ночевал в снегу, пережидая пургу. Старательно обходил поселки и зимовья.

Тешил себя надеждой: прорвусь.

Он шел, и тундра казалась ему безмолвной: он не слышал, как поют полозья нарт, мчащихся к пограничной заставе.

Он верил в пургу: снежный вихрь преградит путь всем, кто захочет его настичь. В такую погоду каюры ставят нарты на бок, ложатся в горячий собачий клубок с подветренной стороны.

Но каюры мчались к заставе.

Он шел, и тундра казалась ему безлюдной: он не видел, как просыпаются яранги оленеводов. Как подхваченный тревогой, выскочил на крыльцо мастер косторезной мастерской «Чукотские сувениры» командир дружины Иван Сейгутегин. Бывший пограничник, он отдавал дружинникам боевой приказ. Очень похожий на тот, который сам получал от начальника заставы.

Небо над тундрой казалось нарушителю безжизненным: он не знал, что, грозно урча, зависли над сопками вертолеты. И среди них — вертолет пограничного аса капитана Григория Ивановича Салова.

Не знал, что геологи, приняв сигнал тревоги, изменили свои маршруты. Что наперерез непрошеному гостю повернули лыжи охотники Армагыргин и Тнавуквутаген. Что зорко осматривает каждый след бригадир Лелич, тот самый, что обнаружил

воздушный шар с американской маркировкой. Что все поднялись на помощь воинам в зеленых фуражках.

Он не знал многого, вражеский лазутчик.

А главное — он не знал, что значит советская земля для советского человека.

Та, что начинается с острова Ратманова.

Дорогая, как выстраданное счастье.

Дыхание друзей

Беда подстерегла их ночью.

Старший наряда сержант Шурупов оступился и сорвался с высокой скалы, подчиненные Анатолий Вагин и Александр Шигин поспешили ему на помощь.

На помощь... А в лицо — злая пурга, взбесившаяся к ночи.

На помощь... А впереди — триста метров скалистого обрыва, предательски укрытого снегом.

На помощь... А каждый шаг мог им самим стоить жизни.

Они спустились.

Совладали с пургой.

Победили страх.

Перед ними лежал товарищ, попавший в беду. С переломанными ногами. Потерявший сознание.

Вагин и Шигин сняли с себя полушубки. Укрыли товарища.

Склонившись над ним, стали дышать ему в лицо.

Их горячее дыхание привело его в чувство.

Пограничники подняли сержанта и бережно понесли его в обогревательный пункт...

А в это время полярного летчика Бориса Петро-

вича Комкова позвали к радию. Радировали из штаба пограничного отряда:

— Выручайте...

Мела пурга. Ветер дул со скоростью двадцать два метра в секунду.

Но «Аннушка» Комкова отважно взмыла в небо. На борту — политработник майор Владимир Энтин.

Шесть раз пыталась заходить на посадку «Аннушка». Пурга сносила ее в океан.

На седьмой раз — прильнула к острову.

Комков не выключал мотор. Пограничники держали самолет за крылья.

И едва пострадавшего уложили в кабину — «Аннушка» исчезла в пурге.

Чтобы согретый дыханием друзей жил человек...

У майора не было детей

Арбуз был громадный, полосатый, отливающий темно-зеленым глянцем.

Он вырос в астраханской степи.

Теперь он превратился в пассажира. Упрятанный в большую вместительную авоську, он летел в воздушном лайнере.

Майор-пограничник вез его на Чукотку. Пассажиры бросали восхищенные, завистливые взгляды: «Ну и арбузище!»

В Анадыре майор пересел с лайнера на грузового «Илюшу». Майор спешил: до Нового года оставались сутки.

В самолете было холодно, и майор укрывал арбуз полами шинели.

В бухте Провидения майор пересел на вертолет. Потом на «газик». Потом на нарты, которые с рез-

вой злостью мчала по снежной тундре отчаянная собачья упряжка.

Пуржило, но арбуз не мерз: он был укутан теплой кухлянкой.

На заставе майора встречали солдаты.

Часы показывали двадцать три сорок пять.

— Сейчас я покажу вам астраханское солнце, — сказал майор.

Он внес арбуз в столовую. Арбуз покрылся капельками растаявших снежинок.

Повар принес нож и весело занес его над арбузом.

Все ахнули.

Все увидели раскаленное докрасна солнце. Оно сияло, а за окном ярилась пурга.

— С Новым годом, дорогие мои сыновья! — тихо и проникновенно сказал майор.

У майора не было своих детей.

Счастливая бухта

Осенью 1848 года английское парусное судно «Пlover», отправившееся на поиски экспедиции Джона Франклина, бросило якорь в тихой, причудливо очерченной бухте. Здесь его застала зима.

С мучительной тревогой моряки встречали каждый рассвет. Они знали, что с Чукоткой шутки плохи, и приготовились к самому худшему. Но вопреки мрачным предсказаниям зимовка прошла благополучно. Корабль и люди с облегчением встретили весну.

От всей души благодарные бухте, своей спасительнице, они называли ее Бухтой Провидения — в

ознаменование счастливого провидения, спасшего судно.

Они не могли предвидеть, что она, эта бухта, станет воротами Арктики.

Когда в семидесятых годах прошлого столетия началось регулярное крейсерство русских военных судов вдоль восточных границ России, клиперы «Всадник», «Стрекоза», «Гайдамак», «Разбойник» не раз укрывались в Бухте Провидения. Их беспокойная служба способствовала охране границ, ослабляла влияние иностранцев на Чукотском побережье.

В 1924 году сюда заходила канонерская лодка «Красный Октябрь» перед своим знаменитым походом на остров Врангеля.

Из Бухты Провидения возвращались домой челюскинцы. Здесь, в этих краях, с глазами, красными от бессонных ночей, носился по побережью член Чрезвычайной тройки по спасению челюскинцев пограничник Андрей Небольсин. Его горячие, взволнованные слова поднимали на ноги чукчей и эскимосов. Вместе с пограничниками они расчищали площадки для посадки самолетов, везли на нартах горючее, мчали по тундре вырвавшихся из ледового плена героев знаменитого дрейфа. Многие они сделали для того, чтобы челюскинская эпопея была успешно завершена.

Вот строки из памятной радиограммы:

«Ванкарем, 13 апреля, 4 часа 40 минут. Сегодня, 13 апреля, самолетами Молокова, Каманина и Водопьянова доставлены в Ванкарем последние шесть челюскинцев во главе с Бобровым и капитаном Ворониным. Радисты Кренкель и Иванов, моторист Погосов, боцман Загоринский.

Доставкой последних шести человек спасение чело-
люскинцев считаем выполненным.

Форсируем переброску людей в Уэлен и Бухту
Провидения для посадки на пароход.

Председатель Чрезвычайной тройки Г. Петров.

Член тройки Небольсин».

Андрей Небольсин был награжден орденом Крас-
ного Знамени.

После Великой Отечественной войны сюда, на
Чукотку, прибыли пограничники, принимавшие уча-
стие в штурме Кенигсберга.

Пароход «Жан Жорес» не отдавал швартовых —
не было пирса. Пограничники деловито высадились
на берег. Хмурым сентябрьским днем первый лом
вонзился в вечную мерзлоту.

Вначале пограничные заставы размещались в
ярангах. Теперь пограничники живут в добротных
домиках. Паровое отопление. Горячая вода. Электри-
чество. Радио.

Много сил и труда вложили в строительство май-
ор Валентин Никанорович Устинов и его мужествен-
ные солдаты... Здесь нет ошибки — только стойкие
люди могут строить на Чукотке круглый год.

Ярко горят огни Бухты Провидения.

И пусть скептик, прочтя эти строки, хмыкнет:
«Нарисовал... А влажность — почти восемьдесят
процентов. И ультрафиолетовое голодание. И веч-
ная мерзлота. Волком взвоешь!»

Пусть себе хмыкает. И пусть взывает.

Нет, они не лицемеры, они сами не скрывают су-
ровой правды.

Да, говорят они, мы ждем солнце, как ждут са-
мый дорогой праздник. А пока оно скрыто сплош-

ной сеткой дождя, наших детей облучают искусственным солнцем — кварцевыми лампами...

Да, мы на себе испытали многодневную пургу. Когда сугробы взбираются выше крыш наших домов. Когда застава отрезана от офицерского домика, и пограничники, задыхаясь от обжигающего ветра, держась за натянутый канат, несут озябшим и проголодавшимся семьям дрова и продукты...

Да, бывало и так, что наряд, сбившись с пути в метельной ночи, ложился в снег, не дойдя всего сотни метров до обогревательного пункта. И верная овчарка тянула молодого солдата за волосы, не давая ему уснуть, а значит, замерзнуть...

Да, и это тоже было: жена офицера, жившая безвыездно несколько лет на одной из самых дальних застав, попав в шумный город, расплакалась от радости: «Смотрите, сколько людей...»

Нет, они не скрывают трудностей, настоящие люди. Но говорят о них не для того, чтобы в отчаянии излить свою душу, а чтобы еще упорнее бороться с ними и побеждать.

Пусть себе хмыкает скептик — Чукотка не будет слушать его. Она без жалости растает с теми, кто слаб душой.

Чукотка ценит тех, кто дорожит суровыми буднями.

Кто, как Иван Карякин, Борис Комков, Иван Сейгутегин, твердо и искренне убежден, что Бухта Провидения родилась под счастливой звездой.





Сергей МАРТЬЯНОВ

Генацвале

Эта маленькая история случилась с жителями аджарского селения Мариндини, затерянного среди гор и лесов, неподалеку от границы с Турцией. Чтобы попасть туда, нужно проделать трудный и опасный путь сначала на машине, потом верхом по горным тропам, скользким от дождей и туманов. Но еще трудней добраться до пограничной заставы, которая стоит выше селения, на самой вершине снежного перевала. Когда строили ее, каждое бревнышко и каждый кирпич приходилось поднимать на

руках, потому что вьючные лошади не могли пройти с громоздкой поклажей по крутым и узким тропам. И целое лето жители селения помогали бойцам. Они рубили деревья, тесали бревна, месили саман, и все это перетаскивали наверх. Они подняли заставу на своих плечах, и это давало им право считать ее родным домом.

— Пойду схожу на нашу заставу, — говорил мариндинец, решив посоветоваться по какому-нибудь делу с ее начальником.

— Ну, как там, на нашей заставе? — спрашивали ходока, когда он возвращался в селение.

Аджарцы были как бы в ответе за стены, возведенные их руками, и за благополучие обитателей этих стен.

Пограничники платили им тем же. Не раз во время снежных буранов они спасали овечьи отары в горах, приносили в селение журналы и книги. С их помощью почти в каждом доме заговорил голос Москвы и Тбилиси, и мариндинцы перестали чувствовать себя отрезанными от всего мира.

Не проходило дня, чтобы кто-нибудь из пограничников по делам службы не заглядывал в маленькое селение, и аджарцы привыкли их видеть у себя, как привыкли видеть восход и заход солнца. С ними можно было переброситься словом, узнать, какие новости там, наверху. Горцы называли солдат генацвале, что значит друг, товарищ, а надо сказать, что не каждого человека горец назовет так. И если бы вдруг пограничники перестали ходить через селение, то мариндинцы бы посчитали, что там, наверху, случилась беда.

Так было все годы.

Но вот однажды в горах разбушевалась метель.

Пять дней и пять ночей из низких тяжелых туч валил снег. Такого не помнили даже самые старые жители Мариндини. Снег валил не переставая, крупный, мокрый и такой густой, что в трех шагах ничего не было видно. Он засыпал дома по окнам, потом по крыши, и в домах стало темно, как ночью. Люди отсиживались в жилищах. Тревожно мычали не кормленные коровы.

И все это время в деревне не показывался ни один пограничник, а на шестой день в домах замолчало радио. Мариндинцы проснулись и не услышали привычного голоса диктора. Люди притихли, почуввав недоброе. Когда снегопад перестал и все выбрались из своих жилищ, никто не узнал ни родной деревни, ни окрестных гор. Все было погребено под сугробами, а многие постройки рухнули под непривычной тяжестью снега.

Прошел день, и еще один день. Радио молчало. С заставы не появлялся ни один человек.

И тогда мариндинцы заговорили:

— Не проломилась ли у них крыша от снега?

— Осталась ли пища?

— Есть ли у них дрова, чтобы затопить печи?

Они говорили о дровах, крыше, пище, а думали о другом. Только самая старая из женщин не вытерпела и воскликнула: «Вай-мэ!», что значит: «Горе мне!», а другая добавила: «Шени чириме», что означает: «Их беда — мне».

И один из мужчин сказал:

— А не нужно ли им помочь?

Деревня была небольшая, жителей мало, и они легко сговорились: да, нужно помочь. Они хорошо знали друг друга, и выбор пал на пятерых самых сильных и ловких.

— Идите на заставу и узнайте, что там случилось, — сказали им.

И пятеро в знак согласия молча кивнули головами, потому что выражать свои чувства бурно — недостойно мужчины.

Сборы были недолги, ходоков снаряжали в путь всей деревней.

— Возьмите наши снегоступы, они самые легкие и надежные, — сказали им соседи, принеся свои лучшие снегоступы, сплетенные из крепких прутьев, обтянутых снизу звериными шкурами мехом наружу.

— А у нас возьмите теплые вещи, — сказали другие соседи и отдали свои самые теплые башлыки, шапки и каламаны.

— А у нас еду, — сказали третьи и дали сало, овечий сыр и хачапури.

— Хорошо, мы возьмем, — отвечали те пятеро и взяли все, что им принесли, потому что и снегоступы, и теплые вещи, и пища необходимы в горах.

Потом они пошли. Стояло холодное солнечное утро, такое тихое и спокойное, какое бывает только после бурана. Казалось, синий купол неба звенел, как стекло. Кругом в молчании возвышались горы. Яркий снег слепил глаза.

Мариндинцы проводили ходоков за окраину деревни, и здесь самый старший и уважаемый из жителей сказал им:

— Возвращайтесь с доброй вестью.

И потом все долго смотрели, как они стали подниматься на перевал. А те, что поднимались, ни разу не оглянулись назад. Они молча и неторопливо шли вперед, сберегая силы для трудного подъема. Они знали, что на них смотрят снизу, что там оста-

нутя до вечера наблюдатели, самые зоркие и терпеливые из мариндинцев, чтобы предупредить односельчан о благополучном их возвращении.

Никто не помнит имен этих пятерых аджарцев. Их называют просто генацвале, как называют и пограничников. Они шли неустойчиво, друг за другом, по очереди пробивая след в глубоком снегу. Они почти не разговаривали между собой, а если и разговаривали, то негромко и скупое, чтобы не тратить попусту силы. Кроме того, от звука их голосов мог произойти снежный обвал. Они хорошо знали законы своих гор.

Им нужно было подняться на километр, потом еще на километр и еще на один километр, а затем пройти немного по ровному месту, и тогда из-за каменных глыб покажется здание заставы. Обычно тропа обозначалась вешками из молоденьких высушенных елок, но сейчас вешки были завалены снегом. Лишь кое-где над его покровом виднелись вершинки да беспрерывно шагали столбы линии связи, полузаваленные снегом, непривычно низкие, словно обрубленные. Снег лежал чистый, сверкающий. На проводах, на верхушках столбов и вешках кристаллики инея складывались в яркие звездочки, сплетались в тончайшее кружево. Безмолвие царило кругом.

Но вот налетел ветер и сбил иней. Снег взметнулся с земли, закружился, будто в пляске. Замутилось небо, померкло солнце. Ветер обжигал лица, мешал дышать. А путь становился все круче и круче.

Передний из аджарцев вдруг упал и стал медленно сползать вниз, увлекая за собой остальных. Вместе с ними сползал снег. Они попали в оползень, и только чудо могло спасти их. К счастью, оползень

вскоре утих, и они снова стали взбираться там, где только что проходили. Так повторялось несколько раз.

На высоте им стали попадаться трещины. И опять самый передний провалился в трещину, и его долго вытаскивали. Но через пятьдесят шагов провалился другой горец. Пришлось по своему следу вернуться назад и долго отыскивать тропу, пока не наткнулись на вешку. Идти стало немного легче.

Так они прошли первый километр, потом второй, третий. Они торопились и вместе с тем очень боялись увидеть то, о чем думали всю дорогу.

На перевале ветер ревел и сбивал с ног. Далеко внизу, в серой мгле, начиналась Турция. Путники молча поглядели туда и свернули налево, к заставе. Они шли, низко пригибаясь, чтобы пересилить порывы ветра. Снег здесь был сдут почти начисто, и пришлось снять снегоступы. Ноги скользили, подвертывались на острых камнях.

— Э-э, слышите? — остановился передний, с силой втягивая в себя морозный воздух.

— Слышим, — ответили ему. — Давай иди!

Пахло дымом. Ветер доносил его со стороны заставы. Все пятеро снова пошли. Если пахнет дымом, значит, горит огонь.

— Что вы скажете? — опять обернулся первый.

— Эй, иди, иди! — поторопили его.

Застава показалась внезапно за нагромождением скал. Она стояла в седловине, снег завалил ее по самую крышу. Глубокие траншеи вели к дверям казармы, конюшни и командирскому домику. Из трубы поднимался дым и рассеивался, подхваченный ветром. На радиомачте, как язычок пламени, трепыхался красный флажок.

— Ну, что? Я же говорил! — громко сказал первый.

Часовой, разгуливающий по траншее, заметил их, приветливо махнул рукой.

Они не спеша спустились вниз, подошли к часовому.

— Начальник дома?

— У себя, проходите, — сказал часовой и улыбнулся.

Горцы неторопливо и степенно прошли по траншее к дверям, приставили к стенке снегоступы, сбили с обуви и башлыков снег. Потом шагнули в темный коридор и через минуту вошли в канцелярию.

Капитан сидел за столом и брился. Окна были завалены снегом, и капитан брился при свете керосиновой лампы. Увидев гостей, он сильно дернул бритвой. На мыльной щеке выступила капелька крови.

— Здравствуй, генацвале! — сняв шапку, сказал старший из горцев.

— Здравствуйте, товарищи! Какими судьбами? — Капитан торопливо вытер недоброе лицо полотенцем.

Горцы подошли к нему, и каждый поздоровался за руку.

— Пришли к тебе, генацвале, — серьезно и просто сказал тот, кто первым снял шапку.

Начальник ценил простоту и мужество в людях; он молниеносно представил себе весь их путь, но ответил так же серьезно и просто:

— Спасибо. У нас все в порядке.

Старший из горцев одобрительно взглянул на него. Он понял, что помощь пограничникам не нужна, что они выдержали буран, но ему понравилось то достоинство, с каким начальник сказал об этом.

— Дежурный! — крикнул между тем капитан и, когда в дверях появился сержант с повязкой на рукаве, распорядился: — Скажите повару, чтобы чайку приготовил!

— Не торопись, генацвале, — сказал старший из горцев, усаживаясь на стул. — Мы не хотим есть. А почему никто из ваших не приходил в Мариндини и замолкло радио?

Капитан пояснил, что в буран не было смысла посылать людей вниз, а радио замолчало, потому что где-то оборвались провода. Вот и все. Горцы слушали и кивали головами.

— А сегодня вот сам хотел спуститься к вам, — заключил капитан.

— Приходи, гостем будешь, генацвале, — сказал старший из горцев.

— Так, так, — подтвердили его товарищи.

— Спасибо, — улыбнулся начальник. — Но уж раз вы пришли, повременю, дел много.

— Дело твое, начальник.

Все помолчали немного. Потрескивал фитиль в лампе. От снега, завалившего окна и стены, в канцелярии стояла могильная тишина. Было тепло. Но все знали, что за стенами и толщей снега бушует ураганный морозный ветер.

Старший поднялся и что-то сказал своим товарищам по-грузински. Те тоже поднялись и стали надевать шапки. Начальник понял, что они собираются уходить.

— А чайку, товарищи?

— Нужно успеть до темноты, начальник, — виновато улыбнулся старший.

— Успеете, честное слово успеете! А так я не отпущу вас.

Горцы посовещались немного и сняли шапки. Они не хотели нарушать законы гостеприимства.

Их накормили, потом они ушли.

...Мариндинцы встречали их всей деревней. И старые, и молодые тревожно смотрели на приближающихся мужчин, ждали, что они скажут.

— Эй, люди, там все в порядке! — крикнул старший. — Расходитесь спокойно по домам.

И все разошлись по своим домам.





Константин КИСЛОВ

Последний наряд

1

Два дня в году лесник Ершов отмечал с особым значением — 1 мая и 7 ноября. В эти дни Иван Егорыч поднимался с рассветом, брился, чистил и надевал не рабочую робу, а солдатское обмундирование: хорошо проглаженные шаровары и гимнастерку с белоснежным рубчиком подворотничка. Одевшись, он еще некоторое время стоял перед зеркалом, поправляя так и эдак перелицованную пограничную фуражку, на которой свежо и ярко сверкала звездочка, точно она была приколотая к ней не много лет назад, а только вчера. Потом шел во двор и седлал коня. Конечно, это был не тот

Огонек, на котором он когда-то скакал по границе, а рабочая лошадь, послушная и нестроптивная, на ней не скакали, а возили дрова, пахали огороды, ездили за сеном. Это, однако, не мешало Ершову относиться к ней, как к боевому коню. Он отгородил ее от коровы, от овечек и поросенка и оборудовал в сарае станок, как в кавалерийской конюшне: с висящими на цепях вальками, с кронштейном, на котором удобно лежало старенькое строевое седло, а чуть пониже — дощечка с надписью: «Конь Мухрай. Всадник — рядовой Ершов, призыва 1932 года».

В лесничестве в общем-то уважали Ивана Егорыча, но считали его старомодным и немного чудаковатым: все другие лесники стремились обзавестись мотоциклом или уж на худой конец мопедом. Ершов не стремился к этому, у него — Мухрай. Слово он не понимал, что от лошади в наше время одни заботы: самому надо косить сено, ладить сбрую, даже ковать — поблизости не было ни одной кузницы. И все-таки Иван Егорыч не завидовал лесникам, которые с ветерком проносились мимо его кордона на сверкающих «ижах». Любовь к коню была сильнее зависти. И не только любовь — в этом была его молодость, с ней-то и не хотелось расставаться. В седло, как и прежде, он садился легко, с достоинством, даже с какой-то гордостью. Поглядел бы на эту посадочку старшина Запорожец! Ершов знает, что в это время глядит на него не старшина учебного пограничного подразделения, а его жена Марья Ивановна. Она стоит у окна и провожает его теплым сдержанным взглядом. Егорыч едет в наряд, не может она провожать его иначе. Так уж заведено у них смолodu. Даже в недобрый день

сорок первого, когда Марья Ивановна — тогда Маруся — провожала его на войну, он сказал:

— На улицу не ходи и не плачь, чай, не умирать еду...

И она не пошла, а потом жалела, что не проводила, и плакала, пока не пришло от Егорыча письмо из госпиталя.

Ехал он обычно дозорным шагом. Не торопился — праздник. Но лес всегда остается лесом. Его, как и границу, даже в праздник нельзя оставлять без присмотра. И Ершов очень хорошо понимал это. С молчаливым волнением он прислушивался к лесной жизни, приглядывался к ее неожиданным приметам; в ней всегда есть такое, над чем надо призадуматься. Иногда он вдруг останавливался возле какого-нибудь старого дерева и, весело взглянув на него, вроде бы кланялся, как знакомому человеку: «С праздником, старина! Стоишь? Это очень хорошо». Но в дороге он чаще всего размышлял над своими делами. Или вспоминал прошлое. Очень любил вспоминать друзей по заставе. Многих давно нет в живых, но это не мешает ему думать о них. Он даже разговаривает с ними, шутит, а иногда спорит. Вспоминает какие-то давно забытые пограничные истории: они дороги ему. Вот война, по времени она ближе стоит от него, но картины ее успели потускнеть, их заволокло каким-то туманом. Не забываются лишь грохот огня и дыма, дикое ржание смертельно раненных лошадей да стоны умирающих. А друзей близких — их нет. Все временные. Сегодня он стоит в строю стремя в стремя, ест из одного котелка с тобой перловую кашу, а завтра его уже нет, и ты не успел узнать его имени. Граница — другое дело. Там то же, что и на передовой: стрель-

ба, короткие схватки и страх темных ночей, но жизнь там продолжается дольше, а дружба — она навек.

Две тысячи гектаров леса — такое богатство доверено леснику Ершову. Три деревни в его обходе. И всех жителей этих деревень он знает в лицо, и его все знают, даже малыши кричат ему при встрече:

— Здравствуйте, дядя Ваня!

— Здравия желаем! — с улыбкой отвечает Ершов.

Люди постарше здороваются иначе:

— Здравствуй, Егорыч!

— Здравия желаем! — неизменно отвечает он мягким баском и прикладывает к виску ладонь.

У всякого лесника есть, однако, не только друзья. Недруги есть и у Ивана Егорыча: браконьеры, самовольные порубщики, разорители птичьих гнезд — все, кто приходит в лес для того, чтобы дать волю дикой страсти потребителя. И когда Иван Егорыч встречается с такими людьми в своем обходе — даже если не видит нарушений с их стороны, — его уже не покидает тревога: не оставил ли этот человек своего грязного следа в лесу? Пограничная привычка? А что в этом плохого? Так же вот и начальник заставы Торопов, у которого Ершов был когда-то коноводом, знал каждого жителя пограничного участка. Что Торопов, каждый боец заставы мог сказать о любом жителе: добрый этот человек или нет, можно положиться на него или в случае нужды лучше обратиться к его соседу.

У лесника Ершова понятие о доброте шире, чем у рядового пограничника. Здесь, в лесу, добром ему служили не только люди, но и звери, и птицы, и сам лес. Он радовался, когда замечал, что дятлов в его

обходе стало больше — меньше придется списывать загубленных короедом сосен. Зимой он вместе с пионерами мастерил по всему обходу птичьи кормушки, а весной — ставил скворечницы, чтобы больше заманить к себе птиц. И это кое-кто истолковывал как очередное чудачество старого лесника.

Однажды он сидел на опушке. Сидел задумчиво и спокойно. И вдруг услышал робкий хруст ветки. Поднял глаза. В десяти шагах от него стояла лосиха-первотелок. Худенький, мослатый лосенок, тиская губами тугое вымя, сосал матку. Ершов даже вздрогнул. Вздрогнула и лосиха, но продолжала стоять на месте. Она глядела на него тревожными большими глазами. Взгляд ее как бы обращался к нему живым голосом: не трогай меня, человек, я ничего не сделала плохого. Так они глядели друг на друга — лесник с ружьем и зверь, выбежавший под ветерок, чтобы спастись от оводов и накормить детеныша. Потом лосиха повернула голову и нежно лизнула лосенка.

— Мадонна... — неслышно прошептал Иван Егорыч. — Святая красавица...

В эту минуту он действительно вспомнил картину, которую когда-то видел не то в Третьяковке, не то в Эрмитаже.

— Мадонна... — повторил он, не переставая наслаждаться редким зрелищем. — Ну, ну корми его, озорника. Корми, я тебя не обижу. Не бойся.

А лосиха и не боялась, подталкивая головой насосавшегося детеныша, она неторопливо пошла в лес.

— Иди, голубушка, иди... Да строго учи его, немысленно, чтобы умным рос: волку на зубы не попадался, злому человеку под пулю...

Две тысячи гектаров! И пока он обойдет или объедет этот лес, пройдет весь день, кончится праздник. Усталый и довольный, вернется он на кордон, но еще долго будет что-то делать: расседляет коня, протрет соломенным жгутом ему спину и ноги, даст сена. Потом взойдет в избу. А Марья Ивановна — она уже стоит у стола, тихая и счастливая. На столе тепло укутан пирог, а в руках у нее бутылка травницы, так она называет настойку, сдобренную кореньями и душистыми травами. Пока Егорыч раздевается, стряхивает с фуражки пыль и бережно вешает ее на лосяный рог, что торчит над кроватью, Марья Ивановна наполнит пузатую старинную стопку, граненую рюмку нальет для себя. И тотчас же уберет в горку свою травницу.

— С праздничком тебя, Егорыч!

— С великим праздником, Маша!

— Пусть у всех будет праздник! А ты рыжичком закуси...

И польется мирный разговор, без обид и упреков. Иван Егорыч расскажет все, что увидел в лесу, с кем встретился, что приметил. Незаметно разговор перекинется к семейным заботам. Тут уж говорит Марья Ивановна, а Егорыч слушает. Потом Марья Ивановна с лукавой радостью положит перед мужем очередное письмо от сына — он пошел по отцовской дороге: третий год служит на границе. Положит и отойдет в сторонку. Прочтя письмо, Иван Егорыч начнет философствовать:

— Д-да, мать, вот и погляди на него, на меньшего-то, — скажет он и возденет руку с вытянутым, точно громоотвод, указательным пальцем. — Думали, толку из парня не будет. А он на именной заставе служит. Имеешь представление, что это та-

кое? Не имеешь, мать. А дело это очень даже непростое. Завсегда начеку! Главное — имя, которое заставе присвоено. Имя героя! Запятнать его — это смертельный позор. Д-да, в мыслях даже — ни под каким видом. Нельзя! Вот какая штука, мать. К тому же он и отличник еще: видишь, значок на груди! Там, дорогая моя, значками туда-сюда не кидаются. Его там иной раз кровью приходится добывать. Я-то уж эту пограничную жизнь всем своим нутром испытал. Во как ее знаю, хотя в наше время и не выдавали никаких значков...

А Марья Ивановна, скрестив под грудью большие усталые руки, молчит и чуть улыбается. В глазах у нее нет-нет да и блеснут слезы материнской радости.

— Степан не звонил? — вдруг спросит Иван Егорыч и насторожится. Степан — это старший сын, тоже лесник, но служит в соседнем лесничестве.

— Как не звонил?! — точно с обидой отзовется Марья Ивановна. — Звонил. С праздником тебя поздравлял. Сказывал, что у него сегодня работа поспела. Приехать не может. Пообещал через неделю Танюшку послать к нам погостить.

Тепло и радостно становится на душе у лесника, он теребит седой затылок.

— Хорошо. А и правда, мать, пусть все внучата на лето собираются. Будешь по ягоды с ними ходить, по грибы. Чего тебе делать — водись да водись...

Долго они еще беседуют. Наговорившись вдоволь, Иван Егорыч выйдет во двор, сядет на крылечко. Со всех сторон на кордон наступает глухой лес. Лесник слушает, как шумят сосны, как ползут

по подлеску ночные шорохи, как изредка вскрикивают потревоженные птицы. Праздник кончился. Завтра рабочий день, добрый, счастливый день труженика.

2

Иван Егорыч выехал из ворот и неожиданно подумал: пограничники в это время из наряда возвращаются. Усиленного и напряженного по случаю праздника наряда. Подумал и о другом: военный парад в Москве еще не начинался. Ершов был в старой шинели, покроя тридцатых годов, в длинной кавалерийской шинели, с разрезом под самый хлястик, с острокрылыми обшлагами на рукавах, с полинявшими зелеными петлицами. Утро занималось глухое и серое, всякий случайный звук тонул в нем, как тонет монета, брошенная в воду. Падал снег. Где-то далеко мягко прогремел выстрел, потом еще один. И хотя запрета на охоту не было, Иван Егорыч с неудовольствием поморщился. Мухрай шел крупным шагом, изредка запинаясь о торчавшие из-под земли коренья. Старый конь знал все тропки, по которым любил ездить его всадник, и поэтому не ждал команды, а сам по привычке поворачивал в нужное направление или менял тропу.

Снег запорошил мхи и дороги, и только под деревьями все еще на виду лежали хвоя и жухлые листья. Проезжая ельником, Ершов заметил рябчика, который с глупым любопытством поглядывал на него из-за обросшего бородой ствола пихты. Иван Егорыч тронул было ружье, висевшее за спиной, и чуть не выругался — не было у него привычки нарушать радость праздника не только себе, но и жителям леса. Радость нужна всем на земле, как всег-

да, думал он. У всех когда-то бывает свой праздник, даже у птиц и зверей.

Он не поехал деревней Снегиревкой, что стояла на его пути, а свернул к болоту и ехал теперь по самому его краю, вдоль зарослей осинника и крушины. Где-то впереди него бежал следопыт Борзик — крепкая лайка с круто закрученным хвостом. Летом Иван Егорыч не брал Борзика в лес — он зорил гнезда, разгонял выводки. Как ни умен и послушен охотничий пес, он не перестает быть собакой.

Отрывисто тьякнув, Борзик заскулил тонко. Еще раз тьякнул. Ершов хорошо понимал звуковые оттенки собачьего голоса. Борзик редко обманывал его. Сейчас он звал к следу. И вот он увидел этот след — крупный, спокойный лосиный след. Увидел и прочитал: зверь лениво петлял между деревьев, кочек и пней и никуда не спешил. Иван Егорыч слез с лошади и, оставив ее под деревом, прошел несколько шагов по следу. Остановился. В этом месте густо разросся мелкий осинник. Кое-где вершинки его были объедены, а на деревцах светились свежие залысины обглоданной коры. Лось кормился. Но что такое? Здесь лось резко шарахнулся в сторону и сломал несколько хрупких деревцев ольхи. Кто-то напугал его. Отсюда он пошел прыжками. А дальше? Дальше след стал короче, точно кто-то обуздал дикое животное и осадил его на полном скаку. Лесник заметил на снегу капли крови.

— Так вот где стреляли... — проворчал он, разглядывая след. Борзик, нетерпеливо повизгивая, кинулся было вперед, но Ершов строго позвал его. Он стал искать место, откуда стреляли в зверя. И вскоре нашел следы человека.

— А гильзы-то от немецкого автомата, — подняв

железную гильзу с крупцами примерзшего снега, прошептал Ершов и только тут снял из-за спины одностволку.

— Пойдем, Борзик! Пойдем, братец, непорядок в нашем хозяйстве обнаружился...

Собака бежала по следу. Запах крови дурманил ее и прибавлял злобы, она нетерпеливо и нервно поскуливала. Там, где останавливался раненый зверь, на снегу темнели кровавые пятна. В ряд с лосиным следом, по обеим сторонам его, — два следа человека, вороватые и вытянутые неестественно, будто оставлены они не ногой, а жадными языками, лизавшими пушистый снег.

— Догонят, черти, — ворчал Ершов, прибавляя шаг. — Догонят...

Борзика он нашел в густом чернолесье. Встав на задние лапы возле гнилого, источенного муравьями пня, он хрипло и отрывисто тявкал. А впереди, на пятачке оттаявшей земли, Ершов увидел горку красного парного мяса. Чуть подальше, в кустах, заметил людей. Их было двое, они спешили, завывали набитые мясом мешки. И так были заняты своим делом, что не обращали внимания на собаку.

Ершову не пришлось разглядывать, кто эти люди, — все было ясно: в кустах браконьеры.

— Сто-о-ой! — крикнул он, и так громко, как кричал только на границе; от этого голоса нарушители падали, как пораженные громом. Но эти даже не оглянулись на его окрик, не вздрогнули, не побежали. Закинули за спины мешки и пошли.

— Стой, стрелять буду! — еще раз крикнул Ершов, продираясь сквозь чащу. И тогда в ответ коротко грянул выстрел. Иван Егорыч слегка покач-

нулся. Он не упал, а кинулся вперед, перехватив наизготовку ружье.

— Остановись, вражина! — страшно загремел его голос. — Не уйдешь! Все равно не уйдешь!..

Из чащи прогремел еще один выстрел. Ершов упал на колени. Теперь он уж не мог бежать. Положив ружье на трухлявую и мягкую, как подушка, лесину, он стал целиться. Кряжистая фигура браконьера расплывалась в глазах, сливалась с дымчатой серостью мхов и кочек.

— Где он?.. Где он, гад? — лихорадочно шептал Ершов, высоко поднимая голову. Он глядел не через прорезь мушки, а поверх бурелома и выскорей, вздыбленных, точно разъяренные медведи.

— Волки проклятые... — бормотал Ершов, обливаясь холодным потом. — Сейчас я... волчьей картечью вас, окаянных, попотчую. Сейчас...

Напряженно сжимаясь, он медленно нажал на спуск, вложив в этот привычный прием всю свою боль и ненависть. Пороховой дым еще долго застилал глаза, но и через него он увидел того, с широкой сутулой спиной старого беркута, — увидел, как он покачнулся и, цепляясь за ветки, нехотя опустился на землю. Больше Иван Егорыч ничего не видел. Над его головой плавно кружились голые вершины берез, плыли куда-то в звенящую даль темные купы сосен. Где-то вверху, на сухой вершине, робко застучал дятел, а внизу уже покрикивали сороки, слетавшиеся на пиршество. Иван Егорыч хотел подняться и не мог. Ноги не слушались. И были ли у него ноги — там, где должны они быть, зацепилась боль, тупая, тянущая боль.

— Куда же он угодил? — прошептал Ершов, оцепывая себя. — Эх же ты, сукин сын...

Не первый раз вражеские пули карябают тело Ивана Егорыча. Первая царапнула его в тридцать пятом году, в ста шагах от Аракса. То была пуля контрабандиста, выпущенная из английской винтовки. Вторая — это не пуля, а осколок немецкой мины, который он получил в сорок первом недалеко от городка Ефремова. Тогда он совсем не почувствовал боли. Весь полк в конном строю врубился в колонну противника. Какая жестокая и страшная была эта атака, все равно, если бы не упал конь, подбитый осколком, он бы не выронил из руки клинка, так и рубил бы справа налево до полной победы. Выбравшись из-под коня, он понял, что осколок мины не только разорвал на нем полушубок, но и перебил левую руку. И вот теперь опять...

Иван Егорыч повернулся на бок и пополз по своему следу. За ним понуро шел Борзик. Сперва Ершову показалось, что ползти совсем не трудно, но через минуту он уже думал по-другому. Каждый метр давался ему с великим напряжением. Чтобы немного отдышаться, он тыкался лицом в стылый мох и глотал снег. Потом несколько минут лежал неподвижно. И вовсе не потому, что было больно, — он отдыхал, накапливал силы, чтобы поскорее выбраться из болота. А в голову приходили какие-то очень обыкновенные мысли. Почему-то вспомнил разговор с лесничим и стал припоминать, что выполнил и что не выполнил из его заданий.

...Питомник к зиме подготовил, мышцы теперь не потревожат растений. Ох, уж этот мне питомник, думал Иван Егорыч, сколько работы с ним, пока вырастишь рассаду сосенок. Нынче, откуда ни возьмись, кроты припожаловали на питомник. Страшная штука — крот: все погубит. Бесстыдник,

нет бы на хрущовниках поселиться и пользу приносить лесу — на мягкую землю его потянуло, на питомник. Он вспомнил, как две недели воевал с этим земляным слепцом. И победил. А тройку живых кротов отнес на старую вырубку, где всю сосновую молодь пожрали хрущи. «Вот и живите здесь, плодитесь на здоровье и наводите порядок. Люди спасибо вам скажут».

А еще что? Валежник в двести двадцатом сжег. Пять рублей, что в получку недодал Анне Плотниковой, отдал или нет? Отдал. Елизару Бабикову семь рублей тоже отдал. Со всеми рассчитался. Хорошо... Чудной человек, Елизар. Рублями не взял, дай, слышь, мне «красненькую», а я тебе трешницу сдам. Вино не принимает, табак не курит, есть-пить из чужой посуды не будет. И крепкое слово ни-ни, не допускает. А Чертову вышку, ту, что стоит за болотом, обходит километра за два и называет ее Чертежная вышка. Сроду не пойдет мимо. Боится. Зато сам, как есть черт, лохматый, только рогов нету. До самых глаз волосом зарос. И в плечах дай боже. Нельзя, слышь, произносить «черного» слова. Грех большой. Грех... А браконьерить — это ему не грех! На пару с сынком хапужничают...

Иван Егорыч вспомнил, как весной задержал Елизара на глухаринном току. Трех глухарей загубили они с сыном. Стояли растрепанные и виноватые.

— Возьми, Егорыч, одного красноглазого — и делу конец, — угрюмо молвил Елизар. — Мы, чай, не больно враги какие. Поладим.

— Как ты посмел сказать такое, Елизар Евсеич! Бесстыдник же ты, гражданин Бабиков...

Он составил протокол. Елизара оштрафовали. Долго косился он на Ершова. Да и раньше Елизар

попадался то за самовольную порубку, то за сенокос. Слабый человек он к этому делу...

Бесконечно тянется по снегу след крови. В болото уже заползли сумерки, сырые, с холодной продымью. Но Иван Егорыч не замечает этого, он ничего не замечает, ползет и ползет, отдышится немного и снова ползет. И только когда меркнет перед глазами свет, он роняет голову и хрипло ворчит:

— Найдут вас, варнаки. Все равно найдут. Мою заметку в мешок не спрячете...

А Борзик ждет, лижет хозяину руки, лицо и жалобно повизгивает: ну пойдем же скорее отсюда, вставай... Ершов вспомнил, что сегодня праздник. Двадцать пять лет назад в этот день он был на параде. На первом параде в его жизни — на границе парадов не бывает. Он стоял на Красной площади. Тогда так же шел снег и было сумрачно. С Красной площади войска шли в бой. В самое пекло подмосковных сражений. Скорее всего то был не парад, а торжественная клятва воинов перед вечно живым Лениным. И он выполнил эту клятву, пронес ее через всю жизнь. И даже в мыслях своих — ни-ни... А сегодня что?

Он глядит светлыми и очень чистыми глазами. Глядит и, может быть, видит этот свой первый парад. Лицо его осунулось, стало серым. На нем уже успела вырасти седая щетина.

— Сегодня праздник... — проговорил он внятно, полным голосом. — Наш праздник, а вот травницы — это уж не подадут тебе нынче, Егорыч. Тю-тю... Машенька, ты не горюй. Не надо. Мадонну жалко. Какая была красавица... А у нас все еще будет. И праздник будет...

Судорожно хватаясь за корни, за стылую землю, напрягаясь всеми живыми нервами, он продвигается еще на шаг, еще на самую малость. Потом поворачивается на спину и глядит в небо. Небо мохнатое и серое, как мех старого тулупа. На лицо медленно и тихо падает снег. Иван Егорыч словно рад этому снегу, он глядит и не мигает. Молчит и будто что-то подслушивает. А снежинки все падают и падают. Они уже не тают, хрупким пушком лежат на лице. Борзик нехотя лизнул жесткое, холодное лицо хозяина и, повернувшись в сторону, где скрылись браконьеры, залился горьким лаем. Затем рванул лапами землю и, заворчав сердито, побежал на кордон.





Олег СМИРНОВ

Дует моряна

Море бухало прибоем, и Ксении казалось, что и в душе у нее то поднимется что-то — слышен тугой ток крови, то опустится — в груди тишина, все цепенеет. Она лежала в темноте, отбросив одеяло, в одной пижаме. Так спать привыкла еще в городе, в Махачкале. Да к тому же в комнате натоплено: Василий любит теплынь, с обеда истопили.

Она потрогала подушку рядом: не смята. Вздыхнула и, отшвырнув с постели кошку, встала, включила свет. Лампочка под потолком жидко, желто затеплилась, брызгая этим немощным, желтым светом на зеркало гардероба, на никелированные шишки кровати, на лаковые бока приемника. А у кошки фосфорические дьявольские глазищи, она выгибает спину, трется о щиколотку, мяукает — пожалуй, единственный звук в комнате. А за стеной протяж-

ное бух — и долгая, томящая пауза. И опять — бух, от которого содрогается берег и все, что на берегу, и опять — зияющая пауза, когда ухо ловит посвист ветра, стук ставни, ржавый скрип акации под окном.

Ксении известно: бухает девятый вал, в барак с моря проникает только он, самый могучий, самый сокрушительный. Если же выйдешь наружу, то различишь удар каждой волны, даже первой, нарождающейся. Она сейчас выйдет наружу. Зачем? Разве это поможет ему или ей? И зачем проснулась? Разве это нужно ему или ей?

Ксения снова вздохнула, потом набросила пальто, платок, сунула ноги в кирзовые сапоги и, пнув сошку: «Брысь!», открыла дверь.

В ночном морозе над крыльцом гнулись мимозы, тусклый свист ветра сквозил через их листву, через ряды электрических проводов, через штакетник. Дула моряна — южный, иранской пробы ветер, влажный, не жесткий. Задувает тут и норд-ост, зачатый в сухих, полынных степях Казахстана; он порывистый, холодный и колючий. Но и норд-ост, и моряна делают одно — высекают из Каспия шторм.

Ксения запахнулась в пальто, прислонилась к косяку. Тьма обдувала моряной, моросила октябрьским дождем. Хоть глаза выколи: беспросветное небо, беспросветное море. Лишь внизу на причале, с полкилометра отсюда, горел прожектор, да за рыбацким поселком, в предгорье, горел на нефтепромыслах газовый факел. Факел не горел — пылал: огромный огненный шар над землей, пульсирующий, дышащий. Прожектор не горел — тлел, безуспешно борясь с чернотой. Ксения глядела туда, где прожектор, и скорее угадывала, чем видела, смутные, зыбчатые, белесые гривы накатов.

С побережья ветром кинуло шакалий голос, ему отозвался другой, третий: всю ночь, вой, лая, плача, рыскают шакалы в дюнах и пожирают уток, забравшихся под песчаные намывы обсушиться, вычистить перья, подремать. Жуткий вой, разве к нему привыкнешь? И вообще разве можно привыкнуть к этой теми, ветрам и дождям, к пустынным улицам, где под ногами с засосом хлюпает грязь, к сиротливым, одиночным ночам, когда ты не спишь, ждешь и слушаешь, как штормит море? То самое море, про которое соседка по бараку, Филипповна, говорит так: «Каспий не зазря кличут стариком. Мужик значит. А коли мужик, стало быть, обманщик. Рассуди: тихо, смирно, солнышко, а глядь — уже волна, буря-ураган. Обманщик! Утопит и фамилии-то не спросит!»

Ну, конечно, вчера вечером, когда Василий уходил на лов, море было покойное, ручное. Ксения не пошла провожать на причал — и так в поселке посмеиваются, достаточно того, что встречается, — со двора видела, как сейнеры отвалили от причала, и вторым тот, на котором Василий. Издалека все четыре сейнера едины обликом, но она сердцем чувствовала, на каком Василий. На втором. Судно плыло легко, весело под лимонной зарей, кропившей из-за перистого облачка, зеленоватая, без барашек вода уступчиво разламывалась надвое под килем. А к полночи, когда Ксения пробудилась, уже вовсю задувал свежак. И он крепчает и крепчает.

В квелом прожекторном луче белеет отвесная стена прибоя. Бухает девятый вал. Брызжет дождь. Посвистывает моряна. Наверное, в такую ночь погибли те, семеро, что похоронены в сквере возле колхозного правления. Семь рыбаков, утонувших в

осеннюю путину. Все очень просто: у сейнера заглох мотор, унесло далеко, перевернуло. И сейчас снова — осенняя путина.

Господи, что это за жизнь — мучиться, ожидать у моря милости или беды. Нет у нее больше сил, хватит с нее. Хватит! А тут еще Витька Качаев пожаловал. Не далее как вчера. Зачем его принесло, Витьку? Для кого-нибудь он Виктор Викторович, для нее — Витька. Потому что все у них меж собой было. Было да сплыло. А вот — прикатил из Махачкалы. Заходит в магазин и, выждав, когда покупателей у прилавка нет, зажигает спичку, держит ее торчком, пока не сгорит. Спрашивает: «Помнишь?» Отчего ж не помнить: с этого у них когда-то началось. Зажег он спичку, объяснил: «Так и я сгораю от страсти». Она тогда засмеялась, и он засмеялся. Ах, да к чему было ворошить! Было да сплыло. Ответила ж она в магазине Витьке: «Сожги хоть коробок, я мужняя жена». Он сперва усмехнулся: «Как у Пушкина: но я другому отдана и буду век ему верна?» А после побледнел и говорит: «Я люблю тебя по-настоящему, это я понял, мне очень плохо без тебя». Ему! Замечаете — ему! Всегда о себе думает. Ну, показала она от ворот поворот, а на сердце стало и горько, и приятно, и мутно.

Беспросветное небо, беспросветное море. Воют шакальи стаи. Пронизывает ветер, и Ксения начинает дрожать. Она плотнее запахивается в пальтецо, но дрожь не унимается. Еще раз посмотрев на причал, Ксения уходит в дом.

В постели она никак не может угреться, ее колотит озноб, и вдруг она плачет, громко, навзрыд. Плечи трясутся, по щекам ползут слезы, и нос, и губы быстро распухают. Чтобы заглушить плач, она

зарывается в подушку, и подушка быстро мокреет. Кошка мурлычет в ногах, лампочка помигивает, будто собирается вовсе погаснуть.

— Господи! — шепчет Ксения.

Она перестает плакать, утирается полотенцем, тушит свет. Она лежит на спине, натянув одеяло до подбородка, уставившись в потолок; там из неясности и серости проступают, стираются и вновь возникают лица — Василий, Витька, сызнова Василий, мама, Филипповна, сызнова Витька — и другие лица, их много, знакомых и даже незнакомых. Голова у нее тяжелая и на сердце тяжело. Странно, слезы никогда не облегчают, сколько ни плачь.

Она с усилием хлопает ресницами, и лица с толка исчезают. Так-то лучше. Хватит с нее. Дайте отдохнуть от всего и от всех. Устала. Покоя — вот чего хочется. И следом же она чувствует: так еще хуже, так одиночество еще острее. Плохо, что слезы не приносят облегчения.

Громоздкие, нависающие предметы словно вплотную приближаются к ней из сумрака, окружают: гардероб, где висят костюмы ее и Василия, этажерка, где брошюры по рыболовству — Василий и научно-фантастические романы — она, кухонная полка с кастрюлями и сковородками — здесь безраздельно она... Этот подступил, окружил. Ну, что вам нужно от меня? Что? Не могу я больше терпеть, сегодняшняя ночь — просто последняя капля. Вернется Василий с лова, и первое, что я ему скажу: «Хватит с меня, милый, ищи себе другую дуру». Дура и есть: увлек, привез сюда, в глухомань, и трясись о нем, покуда он рыбку выуживает.

А что от меня надо тебе, прошлая жизнь? Какая прошлая? Такая — махачкалинская. Улица Со-

ветская, дом девять. Взбежишь на свой четвертый этаж — запыхаешься. И на каждой лестничной площадке, чуть ли не за каждой дверью — собачий брех: за этой — овчарка, за этой — шпиц, за той — лягавая, за той — рядовая дворняга. Какой-то собачий дом. Но у них в квартире собак не было: папа не терпел животных. Впрочем, он и людей не очень терпел. Дочь и ту не очень терпел. Чуть что — наказывал: ставил на колени на рассыпанное пшено, это он сам придумал, вежливый, чисто выбритый, в золотых очках провизор. Мама потом, давясь слезами, иголкой выковыривала у нее въевшиеся в кожу пшенинки... И все-таки славная, трогательная пора — детство! Дорого бы я дала, чтобы из взрослой женщины вновь превратиться в голенастую, в кургузом платьице девчонку, что прыгала по лестнице под псиное разноголосье.

А взрослой быть сложно. И тяжело. Вот появился на горизонте Витька, для остальных продавщиц гастронома Виктор Викторович — ревизор из республиканской конторы. Солидный, за тридцать, красивый — ничего не скажешь. И однажды проводил ее с работы. Гуляли по скверу, по набережной. Цвели дагестанские розы, светились фонари дневного света, шлепала, ластилась у парапета волна. О, это море она знала — по пляжу, где топчаны и фанерные сооружения «женская выжималка», «мужская выжималка», по набережной, где изобилие парочек. Море в городе прирученное, что ли. Ну, а если разыграется, в любую минуту можешь уйти с берега. И пусть себе бушует, не о ком тревожиться. Здесь же, в поселке, где все пропахло рыбой и все разговоры о рыбе, есть о ком переживать... А Витька на третий вечер зажег спичку: «Сгораю от стра-

сти». И она, вчерашняя школьница, пигалица, дура набитая, смеялась. Досмеялась. Любила ли его? Не знает. Но если бы пожелал жениться, согласилась бы. Однако Витя помалкивал, без женитьбы ему было удобнее. Всегда о себе думает. А вчера твердил иное: «Понял: не могу без тебя. Хочешь, женюсь?» Раньше надо было понимать, Виктор Викторович, раньше.

Сюда прикатила окрыленная. За Василием была готова хоть на край света. С милым и в шалаше рай, как говорит Филипповна, толстая добрая старуха, которая учит ее варить уху и печь судака в тесте и которая дребезжаще поет на общей кухне:

Парней так много холостых,
А я люблю жанатого...

Конечно, шалаш. Но шалаша-то протекают! А если протекают, то внутри сыро и зябко? Однако в комнате тепло. О чем я? Не думать, уснуть! Буду считать до ста.

— Раз, два, три, четыре... — Ксения без звука двигает распухшими губами, и счет напоминает ей лестницу в махачкалинском доме. Досчитаешь до ста — доберешься до четвертого этажа, и сызнова вверх. И уже не заметишь, как наваливается забытье, и уже не определишь: думается ли наяву, мерещится ли во сне.

Мама, еще молодая, румяная, покачивая накладными плечами — такая была мода, а мама портниха, следит за модами, — на площади покупает ей лакомства. Вмиг испачкавшись и почти не разжевав, она сообщает: «Я съела шоколадку и не поморщилась». Мама хохочет: «Кроха ты моя!» Дей-

ствительно, кроха: трусики, панама, бант на макушке.

Вокзал. Платформа. Плакат — аршинные буквы: «Выиграете минуту, можете потерять жизнь!» и соответствующее изображение: гражданин с чемоданом перед грудью мчащегося электровоза, гражданин спешит и, увы, не замечает опасности. А она вовремя замечает опасности? Вихрятся по асфальту сухая пыль, бумажки. Вещи уложены, билеты сдааны проводнице, до отправления десять минут, они стоят у вагона: мама горбится, сморкается в платочек, отец — выбритый, хладнокровный, — поблескивает стеклами золотых очков, Василий переминается, покашливает, и она глядит на жизнерадостный плакат, растерянно чмокает в мамину блеклую щеку, а сама гадает: буду ли счастлива в тех, новых днях, что откроются за поворотом железнодорожной колеи.

Автобус мотает из стороны в сторону, пассажиры, поминая черта, хватаются за поручни. Но белокурый обветренный парень, у которого из-под клетчатой рубахи высовывается тельняшка, широко расставил ноги и ни за что не держится. Так это ж Василий! В командировке! Когда ее швыряет к нему, он поддерживает за локоть, шутит: «Как морская качка, верно?» «Верно», — отвечает она, ни разу не изведавшая качки на море. Лихая езда водителя-аварца не доводит до добра: поломка. Автобус стоит. Пассажиры опять же чертыхаются. «Как мне добраться до порта?» — спрашивает Василий. Она отвечает: «Это недалеко, мне по дороге, я покажу». И они, знакомясь на ходу, покидают автобус,

и лохматые от ветра тени стелются перед ними на тротуаре.

Гастроном. Алюминий, стекло, пластик, плафоны. Она за прилавком, отпускает колбасу. Она суетится, не успевает взвешивать, очередь растет, давит, покупатели, как резиновые, прыгают через витрину, цапают любительскую и отдельную, с остервенением грызут. Чертовщина какая-то. Но внезапно и бодро ковыляет сторож гастронома, орет: «Гад Салазар!» Она знает: это у сторожа ругательство. вместо мата, где-то подцепил, принял на вооружение, едва ли догадываясь, что за личность этот Салазар. Сторож, клацкая зубами, вскидывает ружьецо, орет: «Гад Салазар!», стреляет вверх, в плафон, и растворяется. В зале — Евдокия Алексеевна, директор магазина, вкрадчиво вопрошает: «Продавец Воропаева, как надлежит трудиться работнику советской торговли?» — «Не обвешивать и не рычать на покупателей». — «Правильно, продавец Воропаева, правильно». — И директриса растворяется, и в зал входит Виктор Викторович в развевающемся макинтоше: «Не слушай ее, это ерунда, я научу тебя, как трудиться, как жить. На прогулке научу».

В садах и парках бело и розово, пахнет медом, гудят пчелы, и она бродит по городу, пытается установить: что же за штука — весна? Она озирает облака, горы, деревья, людей и животных, витрины и камни. Полдня бродит по улицам, но только возвратившись домой, устанавливает истину. Во дворе гроздь кустистой сирени, и над ней на веревке сушатся детские пеленки, это соседство и есть весна!

И ей становится отрадно, и она вдыхает аромат распустившейся сирени, и думает: мне шестнадцать, все впереди!

Что это за помещение, просторное, с низким сводом, с которого свешивается многоярусная люстра? А-а, колхозный клуб, куда Василий впервые привел ее. Кружат пары, гармонист каблуком столь ярко притопывает в такт, что порой глушит гармонь, сучки в дощатом полу, будто глаза, наблюдают за ней, и все глаза в клубе наблюдают за каждым ее шагом: что, мол, за кралю привез себе Вася Ведринцев? А Вася Ведринцев ведет ее по танцевальной орбите, ни на кого не обращая внимания, кроме нее. Старомодное танго обрывается, захлебнувшись сладчайшей аргентинской грустью, гармонист рукавом вытирает взмокший лоб. Вразвалку подходит председатель колхоза Зенченко, в кителе, багровый, уса́тый, хрипун, заговаривает с ней: «Приживаетесь у нас, обвыкаете? Ничего, вскорости поставите отдельную хату, мы подмогнем, Василя мы ценим: честно трудится... Ну, развлекайтесь, развлекайтесь». Гармонист с удвоенной прытью начинает топать в такт очередному ветхозаветному танцу — фокстроту, она кладет руку Василию на прямое, твердое плечо.

Какие это славные минуты! Лов позади, Василий, сморенный теплом и ласками, бормочет сонливо: «Не худо бы прилуниться, а?» Шутит. «Прилуниться» у него обозначает прилечь, вздремнуть. Но ей не хочется уступать сну Василия эти славные мину-

ты. Она наклоняется, тормозит и вдруг ощущает: руки у Василия ледяные, безвольные, губы ледяные, безответные. Она всматривается и немеет в ужасе: в закатившихся глазах стоит, не выливаясь, морская вода, изо рта пенится струйка, и мокрая борода, которой у мужа никогда не было, — борода мертвеца. Она вскрикивает: «Утонул!» — и отшатывается.

Ксения проснулась от собственного крика. Он, этот крик, казалось, еще колотился о потолок. Сердце стучало так, что ничего не было слышно, испарина облепила тело. Одежда сброшена на пол, она в одной пижаме. Господи, привидится же! Но это сон, всего сон. Сны в руку? Так уверяет Филипповна. А Елисеевна, другая соседка, уверяет: сны надобно толковать наоборот, приснится плохое — значит, будет все в порядке. Ах, как скачет сердце, даже покалывает.

Она обессиленно откинула голову. В щели ставни еще не тянет рассветом, в комнате гнездится мгла. Сколько же проспала? Лучше б уж совсем не спать.

Полежав мгновение, она резко встала, оделась, по коридору, куда из-за тонких фанерных дверей несло храп и свистенье, вышла на крыльцо. Без изменений: хилый луч прожектора, пустынный причал. А ведь могли бы вернуться! Как же, вернуться: план надо выполнять, к тому же гордость не позволит — шторма испугались? А что я извожусь, на это наплевать? А возможно, сейнеры затащило далеко в море? Все бывает. Но я не железная, пер-

вое, что скажу ему на причале: «Ищи себе другую дуру, с меня хватит!»

Ксения больше не легла спать. Она открыла ставни и сидела у стола, гладила кошку и сторожила момент, когда прозрачная жижга рассвета потечет в окно. Хватит! Собрать шмутки — дело немудреное, и прости-прощай, Васенька! Вот если бы ты был сухопутным человеком, каким бываешь, когда нет путины, — чинишь сети, сколачиваешь ящики для рыбы... А тельняшку и значок общественного инспектора Рыбнадзора, круглый, как пятак, носи на здоровье и на берегу. Но ты твердишь: я прирожденный мореман, на сторожевике служил, не могу без моря. А я, Васенька, не могу так мучиться. Прости-прощай!

Наверное, икается ему, Василию. В одном романе вычитала про телепатию, мысли передаются на расстоянии. Нет уж, лучше пусть сейчас, в шторм, Василий не узнает моих мыслей, придет с лова — сама ему скажу. А от научной фантастики я втайне зеваю, научная фантастика — это чтоб культурней выглядеть, Василия покрепче присушить.

Оконное стекло неуловимо голубеет, затем сереет, мгла уползает в углы, как в берлоги. Но и там не удержаться, она истаивает, словно дым. В коридоре хлопанье дверей, шарканье подошв, кашель, детское хныканье.

Ксения надела платье и пошла на кухню — умыться, согреть на керосинке чай. Кухня — главное место женских пересудов, ссор и примирений — уже жила вовсю: журчал кран, потрескивали керосинки. Филипповна, в шлепанцах на босу ногу, в фартуке, подвязав лентой седые прядки, помешивала ложкой в кастрюле и пела дребезжаще:

Огней так много золотых
На улицах Саратова.
Парней так много холостых,
А я люблю жанатого...

Увидев Ксению, она отстранила ложку и спросила:

— Каково почивала, милочка?

— Спасибо, ничего.

— Гм, ничего... То-то под глазами синяки. Не гоже так, милочка.

А Елисеевна называет ее рыбочкой. Елисеевна тоже добрая и толстая, но гораздо моложе Филипповны. Она жарит колбасу, раздает подзатыльники трущимся у сковородки пацанятам и говорит Ксении:

— На кой ляд терзаешь себя, рыбочка, ну на кой?

— Да я ничего, — говорит Ксения и думает: эти и остальные женщины барака равнодушны, что ли, к своим мужьям? Настолько они спокойны, будничны, а ведь с Каспием шутки плохи. Нет, я не имею права думать такое о них, просто они сдержанны и терпеливы. Мужчины в поселке смелые, бесшабашные, женщины — сдержанны и так же мужественны, да и, наверное, они попривыкли. Я же не привыкну, никогда не привыкну.

Выпив чаю, Ксения присела к зеркалу наводить красоту. Подкрашивала помадой губы. карандашом брови и ресницы и разглядывала себя. Да, в подглазьях фиолетовые круги. Куда это годится? И это никуда не годится — волосы отросли, завивка не держится. Когда-то она носила прическу «полюби меня, Гагарин» — куцые и кокетливые, под девочку косички. Но среди рыбацких жен это было

нелепо, и она перешла на обыкновенную завязку. И туфли на каблуках-гвоздиках, и брючки — три четверти были здесь нелепы, и многое другое.

Сперва ей показалось: она войдет в новую жизнь. Она с интересом узнавала и запоминала, что мужчины в колхозе любят именоваться не рыбаками, а моряками, что на берегу свистеть нельзя — накличешь ветер, шторм, что Каспий мелеет и это заботит всех, что весенняя путина начинается в апреле, а осенняя в августе, что красная рыба осетр, севрюга, белуга называется краснук, что шторм выбрасывает на камни обессилевших тюленят, их израненные туши издали не отличишь от камней, что, расквашись, море долго не утихает, и поэтому у берега круче обычного пахнет йодом.

Но все это не то. Настоящее рыбацкое житье: штормовая ночь и муж на лове. Не привыкну я к этому. Режьте меня на куски, кушайте с маслом, как говорит Аркадий Райкин, — не приживусь. Пускай я избалованная, нехорошая, эгоистка, но рыбацка из меня не получится.

Ну, если угодно, — боюсь этой жизни. Элементарная трусиха. Я же не мужчина, не Василий. Я однажды его спросила: «Испугался ли ты хоть когда-нибудь?» Задумался, молчал, теребил пуговицу на пиджаке. А он-то бывал в переплетях: у пьяного нож вырвал в клубе, отпетого браконьера с двустволкой задержал, пожар ликвидировал на корабле, когда служил в Баку, в пограндивизионе, — грамота об этом есть. Спустя минуту он ответил очень серьезно: «Разок напугался. Напугался, что не выйдешь, Ксенюша, за меня замуж». Ну, что ж, Васенька, придется испугаться еще раз — когда скажу тебе на причале... Ладно, довольно. Пора на работу.

Небо в плотных, непробиваемых тучах и высокое-высокое. Свинцовое море до горизонта исполосовано барашками. На причале — никого. Прибой густо шумел, клокотал у причальных свай, у камней, у нефтяной вышки на песчаной косе. Шторм вроде немного поутих? Отжимаемые моряной, над прибрежьем, поселком, плавневыми камышами суматошно летали козары и утки — чернеть, красноголовки. Ветер срывал с Ксении платок, норовил распахнуть полы пальтишка. В палисадниках рдели листья дикого винограда.

Встречные молча кивали Ксении или, как заведующий холодильником даргинец Алибеков, произносили: «День добрый». «День добрый», — произносила и Ксения, и ей чудилось на лице у Алибекова, мужичины на девяносто кило, мальчишечья усмешка. Конечно, посмеиваются, что она дура, ненормальная, трясется о муже, бегаёт на причал.

Справа и слева белели жилые домики из плитняка, островерхие лабазы, колхозная контора. Ксения переступила через рельсы — и рефрижераторные вагоны были белые, чистенькие. И магазин был беленький, чистенький.

Покупатели уже топтались у дверей: два подростка и женщина в телогрейке и с перевязанной щекой. Подростки были рыжие, как подсолнухи, и нетерпеливые: в школу надо, опаздывают. Они набрали хлеба, сахару и конфет и выскочили, хлопнув дверью. Женщина, морщась от зубной боли, глазела на продукты, ворчала:

— Батоны куда подевались?

— Трудности в нынешнем году, неурожай, — сказала Ксения.

— Трудности! А ежели я от черного-то отвыкла, напрочь отвыкла...

Потом в магазин боком протиснулся Ромка Тертышин — дядя в бахилах и длинный, тощий, с маленькой головой, нареченный за это Гвоздем без шляпки. Тот самый, который размахивал финкой в клубе после кино о Циолковском. Наутро, протрезвев, он приходил к Василию, бормотал сумрачно: «Спасибо, от греха отвел меня... Мог пырнуть кого спяну-то, сдуру...» Гвоздь без шляпки — непутевый мужик, запивоха, по пьянке на спор разгрыз стакан, проглотил осколки и теперь болеет; он угрюмый, мрачный, разговор у него отрывистый, грубый, и только когда речь о водке, черты его мягчают и говорит он ласково, нежно: водочка.

— Давай, девка, пару бутылей. Водочки московской...

Ксения с удовольствием не продала бы водку за булдыге. Но это будет нарушение принципов нашей торговли. А вот так нарушения, пожалуй, не будет, а если и будет, то небольшое:

— Продам лишь одну бутылку.

— Ты чего, девка? — Гвоздь без шляпки удрученно таращится, кряхтит.

— Указание получила. Из центра.

— Не слыхал про таковские указы...

Ксения сама не слыхала, но повторяет упрямо:

— Из Махачкалы распоряжение.

Гвоздь без шляпки обидчиво сует в брючный карман бутылку с блестящей фольгой на гоолышке.

А потом пожаловала Соня Рабаева. Приемщица рыбы. Из горских евреек: матовое лицо и угольные брови. Это броская, опасная красота, вызывающая у Ксении неприязнь и настороженность. Гибкая,

осанистая, горделиво потряхивая пышной аспидной шевелюрой, Соня глядела мимо Ксении и тыкала пальцем с рубиновым перстеньком:

— Килограмм сахару. Килограмм масла.

Голос гортанный, страстный.

Ксения насыпала в кульки сахарный песок, резала сливочное масло и думала: «Гордая девица! А нам ведомо: вместо бигуди для завивки использует пузырьки из-под лекарств, на них накручивает волосы... Смехота! И еще ведомо: на Василия пялится, когда он причаливает—как же, влюблена. Ну, конечно, в Василия можно влюбиться: сильный, добрый, надежный, такие на счастье попадают. И пялится Сонечка на него, а он на нее ноль внимания и не повернется. Потому что от меня, от Ксении, от своей жены, взгляда не может отвести. Так он любит меня! Он признавался: «Не представляю, как я прежде жил без тебя. Ты — моя судьба!» Я — его судьба. А ты, Соня Рабаева, того не замечаешь, что ли?

Покупатели шли один за другим, реденькой, но нескончаемой цепочкой. Хлопала пружиной дверь, ей отзывалось звяканьем оконце, и отзывались мгновенной дрожью на полках консервы, стеклянные банки с компотом, винные поллитровки. Перед глазами, как маятник, колебалась стрелка весов, Ксения отпускала товар, получала деньги, сдавала сдачу и все время, внутренне напрягшись, прислушивалась к разговорам покупателей. И наконец услышала то, что ей нужно:

— Сейнерà на подходе!

Вздвогнув, она сказала: «Извините», сняла халат и объявила перерыв на час: люди неприметно по-

смеивались, не спорили, принимая ее порядки, потерпим, зато после переработает лишку.

Выпроводив покупателей, Ксения повесила на дверях замок и, прямая, напряженная, зашагала по улочке. Чавкала суглинистая грязь, в палисаднике, под ореховым деревом, тужась, кукарекал петушок, у калитки хрюкал поросенок, и на хребет ему сыпались лепестки раздерганной штормом астры.

От солончакового пустыря, где траурно маячила сколоченная из полусгоревших досок уборная, к причалу можно было пройти наискось. Подошвы толкли хрусткий ракушечник, утопали в волнистом песке. Моряна тускло свистела, гнала по дюнам шары перекаати-поля, пробирала до костей. Дождь перестал, однако на лице — брызги, соленые, морские. Волны, метров по триста длиною, били учащенно, накатываясь друг на друга. И сейнеры — все четыре, — как чернять, качались на волнах. На каком из них Василий? Ксения шла, и ей казалось, что море и ее то опускало, то поднимало.

Она пролезла под сетью, распятой на кольях, обогнула мотофелюги и баркасы, вытащенные на берег, ступила на дощатый настил причала. На причале был народ: председатель Зенченко в прорезиненном плаще — воротник торчком, грузный Алибеков, Соня Рабаева со своей вызывающей, опасной красотой, еще кто-то. Ксения стала в сторонке, дрожа от холода и волнения и неотрывно глядя на сейнеры.

Валы колошматили причал со злобной тупостью, будто стремясь разнести в щепы. Когда же борт судна ударился о причал — дерево о дерево, — этот удар был добрый, мирный, его не спутаешь. На палубе — бригада, роба одинаковая: брезентовые

куртки, штаны, зюйдвестки, резиновые сапоги. Но она Василия ни с кем не спутает. Сердце подсказывает: он на этом сейнере. Вот он перегнулся через борт, стащил с головы зюйдвестку, помахал. Это мне. Никому — мне одной. Отсюда я плохо различаю его лицо. Но это неважно: внутренним, сокровенным зрением я как бы рядом вижу русский ежик, который люблю приглаживать, зеленые, под цвет каспийской воды, очи, в которые люблю заглядывать, коричневым кружок родимого пятна на подбородке, которое люблю целовать.

Ксения стояла на отшибе, все сильнее дрожала, куталась в пальто.

Часть рыбаков осталась на сейнере, остальные — и Василий с ними — прыгнули на причал, между ними сновала Соня Рабаева. Им что-то командовал капитан сейнера, устойчиво, по-моряцки расставив ноги и поднеся ко рту жестяной рупор. Командовал Зенченко, поднеся ко рту ладони. Взвизгнула лебедка. Пополз конвейер, нагруженный выловленной рыбой, от причала вверх на косогор пролегла текучая серебристая полоса.

Когда Василий разогнул спину, Ксения двинулась ему навстречу. Они сошлись на середине причала, остановились, и она сказала:

— Ну, пошли домой.



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| Борис ЗУБАВИН. Женщина жнет траву | 5 |
| Лев ЛИНЬКОВ. Последняя улыбка «Хризантемы» . . . | 20 |
| Александр СЕРДЮК. В осеннюю ночь | 36 |
| Лукьян ГОРЛЕЦКИЙ. Сержант Зозуля | 49 |
| Георгий ДМИТРИЕВ. Хочу ловить Янги | 58 |
| Михаил АБРАМОВ. Закон границы | 69 |
| Александр АВДЕЕНКО. Балтийский лед | 79 |
| Александр ПУНЧЕНОК. Два честных слова | 98 |
| Анатолий ПРОСКУРОВ. Горы-корабли | 104 |
| Анатолий МАРЧЕНКО. Бухта Провидения | 118 |
| Сергей МАРТЬЯНОВ. Генацвале | 131 |
| Константин КИСЛОВ. Последний наряд | 140 |
| Олег СМИРНОВ. Дует моряна | 155 |



ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Рассказы

Составители сборника *А. СЕРДЮК, О. СМИРНОВ*

Главный редактор *М. СМОРНОВ*
Литературный редактор *В. ГОЛАНД*
Художник *Е. ГОРБАЧЕВ*
Обложка художника *В. ПРОВАЛОВА*
Технический редактор *Л. СУХАРЕВА*
Корректор *Т. ХОРЬКОВА*

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Г-53001 | Сдано в набор 6 декабря 1967 года. | |
| Подписано к печати 2 января 1968 года. | Объем 6 п. л. | |
| (условн. л. 8,22). | Уч.-изд. л. 7,4. | Цена 20 коп. Зак. 903 |
| | Формат 70×108 ¹ / ₃₂ . | |

Типография журнала «Пограничник»

БИБЛИОТЕЧКА ЖУРНАЛА „ПОГРАНИЧНИК“

**Готовятся к печати
и выйдут в свет
в 1968 г.**

В. Любовцев, П. Шариков. «В трех шагах граница».

А. Лукин. «Без особых примет».

Цена 20 коп.